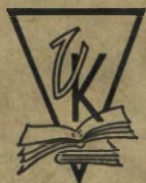


Д. КАНЕВСКИЙ

НА ЗАПАД



1968

НА ЗАПАД

Д. КАНЕВСКИЙ

НА ЗАПАД



Вашингтон 1968

**Эта книга напечатана в количестве 1.000 экземпляров
в типографии:**

**A. ROSSEELS PRINTING COMPANY
70, rue du Canal - LOUVAIN - Belgium**

**Все права сохранены за автором
All rights reserved**

**Склад издания:
Victor Kamkin, Inc
1410 Columbia Road
Washington, D. C. 20009**

НА ЗАПАД

I

Ранним осенним утром 22 сентября 1943 года длинный состав из товарных вагонов был подан у правого крыла киевского вокзала. Поезд этот предназначался для эвакуации в Германию большой группы украинских учёных с семьями. Накануне, перед вечером, я с семьёй — жена, сын и мать жены, семидесяти восьми лет, доставили свой багаж на сборный пункт — помещение Института Ботаники Украинской Академии Наук. Там, среди двора под открытым небом, были уже сложены вещи научных работников киевского Университета и Академии Наук. Приближался уже вечер, и никто, видимо, не пожелал оставаться на ночь на сборном пункте. Не без опасений, в страхе опоздать утром к поезду, мы также решили возвратиться на свою покинутую квартиру. Было уже темно, когда мы, спотыкаясь от волнения, поднимались на пятый этаж, поддерживая хромую, беспомощную бабушку. В полной растерянности, не имея возможности осветить своё разорённое и навсегда покидаемое жильё, укладывались мы на ничем уже не прикрытые кровати, прикасаясь в последний раз к близко стоящей нашей единственной ценной вещи — дорогому нам роялю, за которым и жена и сын проводили столько хороших минут. И, чуть забрезжил свет, спешили уже на сборный пункт, где с облегчением убедились, что ещё не поздно, вещей на дворе поприбавилось, и вокруг толпятся люди.

Вскоре стали появляться родственники и знакомые отъезжающих, чтобы увидеться с ними в последний раз. Среди них и мой брат, известный киевский врач. Он не мог, по семейным обстоятельствам, присоединиться к нам. Мы расстались с братом навсегда.

Делом эвакуации ведал немецкий профессор-геоботаник из Познани, хорошо владевший русским языком, сам родом из России, где он и получил высшее образование. На Украине он, в сотрудничестве с привлеченными им некоторыми киевскими и харьковскими ботаниками, проводил какие-то геоботанические наблюдения. Сам он выехал в Познань неделей раньше дня выезда эвакуируемой им группы украинских учёных, с целью подготовить всё необходимое для прибывающей большой группы научных работников, составлявшей, с семьями, около трехсот человек. Познань, как мы узнали только после приезда в этот город, и была конечным пунктом нашего, первого по счёту, продвижения на запад.

Около восьми часов утра появились грузовики, и все наши вещи были взвалены на машины, нам же оставалось только карабкаться на самый верх большой груды тюков и сундуков и крепко держаться за верёвки. Бабушку нашу шофер предложил посадить в свою кабинку. Не торопясь, осторожно катились машины по совершенно безлюдным, но чисто прибраным, таким с детства знакомым и близким улицам: Фуидуклеевской, Тимофеевской... к вокзалу, мимо всем милого нашего ботанического сада. На вокзале также царило безлюдье и какая-то жуткая тишина. Она ежеминутно, как казалось, могла быть прервана налётом бомбардировщиков. Тем более жутко было усаживаться в поезд, который мог ещё долго простоять до отправления.

Когда все вещи были погружены в поезд, и мы уже часа два сидели на своих сундуках в отведенной для нашей семьи части товарного вагона, вошли к нам, неожиданно, профессор-зоогеограф (из Штутгарта) — главный руководитель так называемых исследовательских работ на Украине, со своим помощником, оба в военной форме. Они обошли так все вагоны и, с педантической аккуратностью, стараясь не пропустить ни одного из пассажиров, пожимали руку каждому. Наша бабушка с удивлением на них посмотрела, но руку свою протянуть не отказалась.

Прошло ещё около часа в томительном ожидании, и

вот снова какое-то движение: в каждый вагон было доставлено продовольствие — большие эмалированные кувшины с горячим сладким кофе, свежий ржаной хлеб, сливочное масло и банки с мясными консервами, — всё в давно невиданном количестве, напоминавшем добрые старые времена. Было, однако, как-то не по себе, и аппетит не разгорался, да ещё присоединилось большое неудобство — отсутствие в вагонах уборных и воды для мытья рук.

Поезд отошёл, наконец, часов в одиннадцать, но двигался он очень медленно, с особой осторожностью, — опасались весьма частых в то время случаев минирования полотна партизанами. Широкая дверь товарного вагона была всё время открыта, но две всего ступеньки на высоте метра не давали возможности выходить даже на минуту на случайных кратковременных остановках, вызываемых, видимо, военными соображениями. С ужасом сами мы видели, что по обе стороны полотна откосы были почти сплошь завалены разбитыми в щепы вагонами с торчащими кверху колёсами. И наши опасения получили новое основание, когда ночью, приближаясь к польской границе, поезд подвергся пулёмётному обстрелу со стороны партизан. Мы ложились на пол, искали защиты между сундуками с книгами, и это повторялось не один раз по ночам.

Первую длительную остановку поезд сделал только на третий день утром, на большой узловой станции Шепетовка, что дало нам возможность выйти из вагона. Мы остановились на запасных путях, очень далеко от вокзала, откуда нам, часа через полтора, доставили консервы, масло, свежий хлеб и кофе. Эта остановка была единственной за весь наш девятидневный, мучительный и опасный переезд. Однако же, нас не покидала уверенность, что мы направляемся куда-то далеко, вглубь Германии, где нас не настигнут уже военные действия всё подвигающегося к западу восточного фронта. И каково же было наше разочарование, когда поезд, пройдя перед вечером вблизи Варшавы, остановился в девять утра в Познани, где стало известно, что это и есть конечный пункт всего нашего путешествия.

II

Часа через два после прибытия поезда весь личный багаж был погружен немцами на грузовики и мы, взгромоздившись на груду вещей, покатали по улицам этого, первого в наших скитаниях западного города, не подвергавшегося ещё в то время воздушным бомбардировкам. Прошли перед нами недавно построенные здания немецкого университета, где нам предстояло вскоре работать по перегрузке прибывших книг и гербариев, варварски вывезенных из киевского университета и Академии Наук. Во главе кафедры ботаники в Познани стоял уже знакомый нам профессор-геоботаник, организовавший эвакуацию и вывезший, к большому сожалению, из Киева величайшую и неповторимую научную ценность — гербарий выдающегося ботаника конца прошлого века, профессра Шмальгаузена. И гербарий этот, без которого немыслима теперь серьёзная работа на Украине в области систематики цветковых растений, сгорел при бомбардировке Познани в 1945 году.

От университета нас повезли к окраинам города, где по обе стороны дороги располагались очень красивые виллы, декорированные большими берёзами, и мы остановились, наконец, у самого подножья колоссальной, как стометровая башня, дымовой трубы над огромной фабрикой военной амуниции. Хотелось даже и на минуту не задерживаться здесь, — ведь такая фабрика — важнейшая цель для бомбардировок. Но грузовики повернули и проехали прямо в широко открытые ворота большого военного лагеря, отделённого от фабрики только узким проездом. И хотя ещё не было ни одного налёта на Познань, было это плохим утешением. И настроение наше, без того крайне подавленное после прибытия в Познань, стало грубоко тревожным, когда оказалось, что нас дальше отсюда никуда не повезут.

Военный лагерь этот, в то время пустовавший, был полностью предоставлен для размещения научных работников с семьями, прибывших с нами. У самих ворот располагались большие кирпичные хозяйственные постройки, а дальше простиралась широкая площадь, в самом конце которой, в непосредственной близости от военной фабрики, был вырыт ряд канав для укрытия в случае налётов, и тут же были расположены в ряд очень благоустроенные бараки, чередующиеся с рядами хорошо оборудованных помещений для умыванья и стирки. Тёплая вода, однако, туда не подавалась. Помещение для душей, куда нас направили уже в день прибытия, находилось в хозяйственных корпусах. Там же, вдали от барачных, находилась и грандиозная общая уборная, напоминающая большой цирк со стеклянным куполом и целым озером из сточных вод вместо арены. Жутко было себе представить, что может произойти, если кто-либо свалится туда или уронит свой бумажник с документами. И, однажды, мы увидели там, внизу, у самой поверхности этих, слегка волнующихся от сквозняка, нечистот, молодого человека, спущенного туда на верёвке и пытающегося выловить ещё не совсем затонувшие документы.

Пока же мы ещё только подходили к предназначенным для нас баракам, у входа в которые стоял уже известный нам профессор, геоботаник, владеющий русским языком, со своими помощниками — двумя старыми, заслуженными деятелями науки из Киева. И все трое, хором, едва поздоровавшись, стали внушать прибывшим научным работникам строгие правила поведения в лагере, особенно напоминая на необходимость соблюдения сугубой опрятности при пользовании общей уборной. Затем они начали толковать о высоком качестве обедов в лагере и тут же добавили, что всем нам предстоит обязательная работа: мужчинам — по перегрузке книг, а женщинам — работа на кухне по чистке картофеля. Они сообщили также, что сегодня нам предстоит фотографироваться для получения паспортов.

После этого прибывшие были размещены по баракам — мужчины и женщины — особо. Мы — я с сыном — попали в

комнату, где были помещены наши старые знакомые киевляне, прибывшие днём раньше нашего с другим поездом научные работники, что несколько подняло наше настроение. В этом же отделении барака собирались, по вечерам, знакомые наших соседей по комнате, и не только научные работники, но и артисты, и бывало довольно интересно прислушиваться к оживлённой беседе окружающих, особенно, если это касалось наших перспектив. Жена была помещена в соседней комнате — через сени, но она весь день проводила с нами и мы вместе обедали за одним столом. Меню состояло из картофеля, брюквы и пудингов, но хлеб был настоящий ржаной и превосходного качества. Постели были устроены в два яруса, и сын наш расположился надо мною.

Перед вечером нас фотографировали, усаживая в особой позе: левым ухом вперёд, но не совсем в профиль. И уже на следующий день нам выдали «фремденпассы», большого формата, в красивом переплёте, но — увы — в графе «подданство» стояло: «СССР». Дело было в первых числах октября 1943 года, когда ещё и представить себе нельзя было возможность Ялтинского соглашения. Но предчувствие чего то подобного, каких-то неизбежных осложнений и опасностей, не оставляло нас. Паспорта эти давали нам право выходить за пределы лагеря в город, но выезжать из Познани не разрешалось. Мы были прикреплены к лагерю и никто не знал, зачем собственно нас собрали здесь и кормят, на какой конец? Те из нас, кто имел родственников за границей, начали переписываться с ними. Мы сами возобновили переписку с сестрой жены, которая, ещё в 1923 году, эмигрировала из советской России в Латвию и с тех пор проживала в Риге, будучи замужем за латвийским подданным. Наш сосед по комнате, пожилой киевский физик, собирался к родственникам в Прагу и вел переписку, но разрешения на выезд не получил. Он не унывал и развлекал публику рассказами из своей богатой практики преподавания физики неучам, поступавшим в политехнический институт из «рабфака». Заглядывал к нам один оперный артист, тенор из Харькова. Он приносил грам-

мофон и развлекал нас записями своего исполнения арий и романсов. Один из незнакомых нам раньше соседей по комнате, ученый агроном, человек угрюмый, молчаливый и серьезный, страдал бессонницей и проводил все ночи напролёт сидя под лампой среди комнаты с книгой в руках, что вызывало ярые протесты окружающих. Получали и мы замечания за нашу привычку обжигать из предосторожности хлеб перед обедом, для чего мы пользовались постоянно топившейся чугунной печкой, где горели превосходные брикеты из бурого угля. Такое отопление было очень кстати, когда начались в конце октября довольно сильные ночные заморозки. Осень стояла сухая, тихая и ночью, при луне, было так жутко сидеть во время тревог, пока еще ложных, в глубоких рвах в той части лагеря, что почти вплотную примыкала к корпусам огромной военной фабрики. И там, среди тревожной лунной тишины, пришлось нам прослушать довольно интересный, такой делёкий от окружающего, рассказ одного молодого зоолога об экспедиции в Туркестан. Запомнилось его описание способа приготовления туземцами ужина в подвешенной над костром шкуре быка, наполненной его же мясом.

Обязательная работа началась на третий день и состояла в размещении по разным зданиям университета множества прибывших книг. Почти все старались всеми силами показать максимальное усердие, некоторые нагружали себя громадными связками книг, я же с сыном носили по-немножку. Один ученый агроном, тот что страдал бессонницей и читал по ночам, вспоминая, как в двадцатых годах он работал грузчиком на пристани в Киеве, удивлял всех, ловко взваливая на спину целые средней величины, наполненные книгами, шкафы и медленным, размеренным шагом поднимая их на второй этаж здания института ботаники. Работая с крайним напряжением, они посматривали на нас и не раз позволяли себе делать нам замечания, предупреждая, что от немцев не скроется наше отлынивание от работы и они нам этого не простят. Нам же казалось, что в данном случае нет никаких оснований для такого излишнего

усердия. Отношение немцев к нам после всего этого несколько не изменилось к худшему, а ученый агроном, переносивший целые шкафы, очень пострадал в результате излишнего усердия — нажил себе грыжу. В общем, работа была не тяжелой, зато женской половине семейств приходилось работать на кухне в крайне тяжёлых и вредных для здоровья условиях. Их загнали, всех без исключения, в тесное подвальное помещение на чистку картофеля, в помощь постоянно работавшей там польской женщине, тяжело больной туберкулёзом. Она беспрестанно кашляла и отхаркивалась в кучу картофельной шелухи. Жена моя, слабого здоровья и крайне истощённая, должна была целыми днями работать в такой обстановке, что приводило в ужас нашу семью. Но, к счастью, на пятый или шестой день, жена была неожиданно освобождена от работы, по инициативе распорядителя работ, незнакомого нам бывшего технического служащего Академии Наук, который, присмотревшись к нашей семье, стал почему-то относиться к нам с некоторой симпатией.

К последним числам октября работа по перегрузке книг была закончена, и всем желающим мужчинам было предложено использовать свободное время для хлопот о приобретении костюмов. Но получить нужные для этого разрешения было не легко, и наша семья, после ряда неудачных попыток, так и осталась без столь необходимых для нас обновок, в противоположность большинству обитателей лагеря.

Шёл октябрь, во второй половине его начались морозы по ночам, и тонкие стены бараков покрывались изморозью с внутренней стороны, несмотря на усиленную топку брикетами. Мы всё ещё оставались в полной неизвестности относительно нашего ближайшего будущего. К этому времени уже распространилась по городу весть о прибытии значительной группы беженцев из глубины России, и в лагере стали появляться посетители из числа старых эмигрантов. Они хотели получить информацию о причинах, побудивших нас покинуть родную страну. На нашу семью обратила своё внимание одна очень приветливая интеллигентная дама, Вера

Александровна. Она долго и подробно расспрашивала нас о жизни в советской России, обратила особое внимание на то, что сын наш очень худощав и бледен, предложила для него хорошего мёду из собственной пасеки и пригласила нас к себе на обед в пять часов на следующий день.

Пройдя по городу минут двадцать, мы вышли на унылый, без признаков растительности берег небольшой реки Варты, через которую перевёз нас на лодке молодой человек очень невзрачного вида, говорящий по-русски. Он доложил, как нечто достойное нашего внимания, что эта река никогда не замерзает. В ста шагах от низменного берега стоял, на голой серой почве, небольшой двухэтажный дом нашей новой знакомой. Она повела нас прямо в кухню, которая удивляла своей белизной и разнообразием кухонных принадлежностей. Мужа хозяйки не было, он был занят на своей фабрике за городом. На столе оказались два лишних прибора. На вопрос, кого ещё она ожидает к обеду, Вера Александровна ответила:

— Эти приборы я всегда ставлю для своих сыновей. Оба они убиты в прошлом году на фронте в России. Но они всегда со мной, я всегда, постоянно чувствую их присутствие.

Грустный был этот обед. Она рассказала, что муж её немец и, что они с мужем решили оставаться здесь, в Познани, хотя у неё есть родная сестра в Чехословакии.

Жизнь в лагере между тем осложнялась в связи с участвовавшими воздушными тревогами. А тут сын ещё захворал гриппом с высокой температурой, не мог выходить на работу и ему грозила опасность быть помещённым в госпиталь, где лежали инфекционные больные. Но он вскоре оправился, и всё это улеглось; как вдруг наступила неожиданная перемена в положении нашей семьи, дававшая нам возможность совсем уже покинуть этот лагерь и выехать из Познани.

Пятого ноября, когда наши хлопоты о получении разрешений на костюмы увенчались, наконец, успехом, и мы смогли бы на другой же день купить себе крайне необходимую

одежду, получено было распоряжение из центрального Института Генетики, что семья наша должна, в течение суток, выехать на работу по специальности, то-есть, по цитологии и генетике, в Восточную Пруссию, в селение Лаукишкен, километрах в пятидесяти к востоку от Кенигсберга, где находился филиал центрального Института Генетики.

Работа в институте была предложена нам обоим — сыну и мне. Сыну в качестве лаборанта по цито-генетике кормовых растений, мне — ассистента по той же специальности. Командировка эта нас очень взволновала, несмотря на, казалось бы, хороший выход из создавшегося в лагере неопределённого положения, поскольку географическое положение этого филиала было крайне невыгодно, выдвигая нас на сотни километров к востоку, как бы навстречу к неизменно приближающемуся фронту. Это ставило нас в несравненно худшее положение, по сравнению со всеми остальными научными работниками лагеря, которые и восприняли нашу командировку, как репрессию по отношению к нашей семье за наше, по мнению некоторых, нерадивое отношение к общим работам в лагере. Но сами мы смотрели на это иначе.

Ещё летом 1942 года, в период немецкой оккупации, в Киев приезжал немецкий профессор, директор центрального института генетики имени Ервина Баура, известного генетика. Он посетил Институт Ботаники, где ещё оставалась часть научных сотрудников. Профессор, сам цитолог и генетик, ознакомился с тематикой моих работ по цитологии и эмбриологии растений и, как можно думать, сделал своё заключение, что я мог бы быть полезен в его работах, близких к моей тематике, как ему показалось, так как я генетикой не занимался в своих работах. Профессор познакомился тогда же и с моим сыном, который, будучи тогда только ещё студентом второго курса биологического факультета, работал в то время в Украинской Академии Наук в качестве лаборанта по цитологии и, по-видимому, сын произвел на профессора хорошее впечатление. Получив сведения о прибытии в Познань целого ряда украинских ботаников и селекционеров, в том числе и меня с сыном, профес-

сор, очевидно, решил вызвать нас на работу в свой прусский филиал, где, как нам сказали в Познани, был большой недостаток в научных сотрудниках. Всё это были только наши предположения и мы, конечно, ни с кем не делились ими в познанском лагере.

Как бы то ни было, но мы должны были спешно собрать и упаковать вещи для сдачи в багаж, так что у нас уже не было времени отправиться в город и выбрать для себя столь необходимые, при такой перемене нашего положения, новые костюмы. На вокзал отвезли нас в лагерьном грузовике, и мы с облегчением оставили этот лагерь, расположенный в непосредственной близости от фабрики военной амуниции. Сдав вещи в багаж, мы уселись на своих узлах среди большого, уставленного столами вокзального зала, в ожидании берлинского поезда, который должен был увезти нас далеко на северо-восток, к новой, уже самостоятельной жизни в Германии, вдали от всех старых знакомых, на полную неизвестность и новые, неизбежные, тревоги и опасности.

III

Поезд на Кенигсберг подошел ровно в десять вечера, и мы, в суете трехминутной остановки, с трудом усадили хромую, беспомощную бабушку и разместились в полупустом вагоне, где вспомнили о съестных припасах, которыми снабдили нас в лагере. Так мы и проехали без каких либо осложнений до самого Кенигсберга, часам к трём пополудни, на следующий день. Предстояла пересадка на поезд местного сообщения Кенигсберг-Тильзит, через Лабиау, откуда было еще десять километров до места нашей будущей работы в селении Лаукишкен.

Тут-то и начались наши злоключения, когда мы пересели в этот стародавний поезд из нескольких расшатанных вагонов, с открытыми, без каких-либо решёток площадками. Надвинулись свинцовые снеговые тучи, сразу потемнело и началась метель. Были свободные места, но на нас обратил внимание некий захудалый, потёртый, небольшого роста отставной военный и начал, орудуя локтями и кулаками, выталкивать из вагона всю нашу семью на ходу поезда. Бабушку отстояли пассажиры. На совершенно открытой площадке нас подхватила снежная буря, сразу же сорвавшая шляпку у жены. Она попыталась открыть дверь, но военный дежурил и, выскочив на площадку, снова пустил, в ход кулаки, пытаясь столкнуть нас на полотно, на что мы отвечали только отчаянными воплями. И только предъявленные нами документы о нашей командировке на работу в Институт Генетики образумили, наконец, этого дряхлого пруссака. На станции мы с опаской заглянули в вагон, но врага нашего уже не было, и можно было спокойно вынести вещи и посадить на платформу бабушку. Дежурный на полустанке отобрал наши билеты и ушёл. Тишина, маленький запёртый сарайчик, чистое поле вокруг, а вдали вид-

неются деревья и строения. Оставляем бабушку у вещей и направляемся в сторону поселка по вымощенной щебнем дороге, среди низменной, болотистой, унылой местности, когда вдруг послышался шум колёс и выехала из за поворота большая рессорная площадка, запряженная рослой лошадью, которой правил молодой работник, высланный за нами на станцию. Погрузили вещи, сами уселись и рысью покатили к селению. Показалось на фоне больших деревьев довольно красивое многоэтажное здание, с развесистыми старыми дубами перед монументальным парадным подъездом. Мы не ошиблись, сразу же сделав заключение, что это и есть помещение института, где нам предстоит работать. Но нас повезли дальше, через мостик, скорее — плотину с рядом гранитных столбиков по сторонам, соединённых тяжёлыми цепями. Слева — небольшой пруд, почти пересохший, а за ним ряд высоких кирпичных сараев крытых черепицей, посреди которых высоко поднималась настоящая фабричная труба, не такая громадная, как в познанском лагере, но более чем достаточная, чтобы создать, в соединении с окружающими крупными строениями, впечатление фабрики, легко могущей стать мишенью для бомбардировщиков. Мало того, что мы снова приблизились к фронту, но мы даже не избавились от такой трубы, да еще расположенной у самого сарая, куда нас подвезли, как нашему жилью. Стало уже совсем темно, пока мы стояли в таком раздумьи перед входом в сарай, как вдруг послышались оживлённые женские голоса и сбежали к нам навстречу две, судя по интонациям, молодые особы, приветствуя нас на чистом русском языке.

— А мы вас ожидали ! . . — певучим говорком воскликнула старшая из них, Марья Семёновна, пожимая нам руки в полной темноте, — мы знали, что вы приедете, мы так рады, что вы будете работать здесь у нас ! . .

— Ах, как хорошо ! . . — скромно промолвила вторая, Раиса Ивановна. Первой было уже за сорок, второй — тридцать. Обе были лаборантками при цитологической лаборатории — нашими ближайшими сотрудницами. Они были вывезены из Царского Села, где работали, до войны, в

Институте Растениеводства, основанном академиком Н. И. Вавиловым, всемирно известным ученым, арестованным по доносу Трофима Лысенко и умершим в сибирском концлагере в 1942 году. Вышедшие из его Института, наши лаборантки были очень опытными, умелыми экспериментаторами. Царскосельский Институт был разгромлен, а оставшиеся его сотрудницы были подобраны немецкими войсками и вывезены в Ригу, откуда их и привёз в Лаукишкен директор нашего филиала, доктор Херч, проводивший время на военной службе в Прибалтике, как гауптлейтер, и навещавший свой институт в Лаукишкене только изредка. Он же, ещё в 1941 году, привёз из Прибалтики, кроме этих двух лаборанток, ещё одну научную сотрудницу из Института Н. И. Вавилова, Эрну Дитмар, с сестрой её Эмилией, из библиотеки того же Института. Эрну директор наш устроил научной сотрудницей в Лаукишкене, Эмилию — в библиотеке центрального Института Генетики в Мюнхенберге, под Берлином. И Эрна стала основным научным работником в Лаукишкене. Ей мы лично обязаны очень многим. Она сразу же ввела нас в курс всех дел и обычаев в этом Институте. Она служила для нас переводчицей при беседах с фактически заведующим этим филиалом доктором Гакбартом, человеком очень скромным, молчаливым и всегда строго официальным.

Пока же мы еще только тащили, в полной темноте, по крутой лестнице, с помощью лаборанток наши вещи на чердак, где, в конце его, проникал слабый свет из полуоткрытой двери. Там была комната лаборанток. Но они повели нас к закрытой двери слева от первой. Это был вход в нашу будущую кухню. Там было не топлено, света не было, справа виднелась открытая дверь в еще одну небольшую комнату, составлявшую, вместе с кухней, всю нашу квартиру. Помещение было ветхое, столетней давности, одинарные рамы окон едва держались, в кухне старая плита в углу у двери и неровный кирпичный пол, в комнате пол кривой, дощатый, испокон веков некрашенный. Была еще дверь в каморку под крышей, куда мы и сложили свои вещи. В углу круглая

чугунная печурка. Было темно, не было тока в единственной лампочке над простым, некрашеным столом. Холод, как на дворе, на полу несколько брикетов возле печки и немногo щепочек.

Не успели еще осмотреться, как в дверях появился доктор Гакбарт. Едва познакомившись, он сразу же, неожиданно, присел у печурки и принялся раскладывать огонь, что, однако, ему не удалось, и мы остались в темноте и холоде. Позже узнали, что доктор смог бы прекрасно устроить нас, на первое время, в главном здании, где имелось несколько комнат для приезжающих, со всеми удобствами. Но всё это было не для нас — иностранцев. Были также запасные кровати, которые можно было бы дать нам на первое время. Но об этом не могло быть и речи. Приходилось нам расположиться на ночь просто на голом полу, и даже без одеял, так как багаж наш мог прибыть только на следующий день. Между тем заглянула к нам Марья Семёновна, предлагая проводить нас в кухню при главном корпусе, где для нас уже был приготовлен ужин.

Мы вошли в большой коридор первого этажа, где, справа, была дверь в кухню, очень тесную, но опрятную, а прямо против входа была открыта широкая дверь в довольно обширный обеденный зал с длинным столом, человек на шестьдесят, и с большим портретом генетика Эрвина Баура на стене. Здесь обедали все немецкие сотрудники института, а из посторонних только одна Эрна, как немка (из « фольксдойче ») и основная сотрудница. Лаборантки готовили у себя дома на чугунной печурке. Приготовленный для нас ужин не был подан в зал, мы должны были ужинать в кухне. Там стояло целое блюдо свежей, искусно приготовленной морской рыбы, большой, пятифунтовый, кирпич грубого ржаного хлеба и полный кувшин, белый эмалированный, тёплого кипячёного молока, которое было для нас, голодных и жаждущих, как нельзя более кстати. Потом мы узнали, что молоко это прошло уже через сепаратор, но ни по цвету, ни по вкусу это заметно не было. После ужина мы добрались, в темноте, не без труда, до своей квартиры, где

нам оставалось только улежаться в зимних пальто на холодном полу, без света, опираясь головой на твёрдые узлы.

На утро я с сыном отправились на разведки, с целью добыть себе топлива, и в сарае, что был за кухней, нашли целый склад брикетов из бурого угля, а также особые корзины для них. Набрав полную, мы с трудом дотащили её к себе и застали уже там институтского дворника Вагнера, которому, как оказалось, было поручено заботиться о нас. Он беседовал очень оживлённо с женой и, особенно, с бабушкой, хотя ни та, ни другая по немецки не говорили. Войдя вскоре в эту новую свою роль, он действительно очень охотно нам помогал и часто нас выручал. Он сказал, что институтский столяр уже начал мастерить для нас деревянные кровати, а также, что для нас уже подан в кухне завтрак. Там, у входа в общую столовую, мы встретили Эрну Дитмар и познакомились, при чём она предложила свою помощь в качестве переводчицы при, предстоящем в этот день, нашем визите к доктору Гакбарту, который укажет нам рабочие места в цитологической лаборатории и, как мы предполагали, предложит нам какую-то программу работы. После завтрака мы, в сопровождении Эрны, поднялись на второй этаж в кабинет доктора. Он ограничился тем, что указал нам, мне и сыну, наши места для работы, но ни словом не обмолвился, ни на этот раз ни позднее, о том, что же мы, собственно, должны будем делать. Это предоставлялось, как можно было думать, нашему собственному усмотрению. Мы должны были только приходить в восемь утра, иметь от полудня свободный час для обеда и, после, сидеть на своём месте до пяти. Затем доктор проводил нас к бухгалтеру, который выдал нам, всем членам нашей семьи, нормальные немецкие продовольственные карточки, как ауслендерам. Он выдал нам также, авансом, месячное жалованье и сказал, что сын, как лаборант, будет получать 125 марок в месяц, для меня же, как научного ассистента по цитологии, предусмотрено жалованье в 350 марок.

Бухгалтер этот, рослый и плотный немец, лет пятидесяти, в охотничьем костюме, не в пример доктору Гак-

барту, обращался с нами несколько свысока, и это чувствовалось все одиннадцать месяцев, которые мы провели в этом филиале, и вылилось, под конец, в явно недоброжелательное отношение. И это было в порядке вещей, так как он был типичным прусским чиновником. То же, в некотором смысле исключительно хорошее отношение данной группы немецких учёных к нашей семье, может объясняться только тем обстоятельством, что они были вообще люди порядочные и близкие нам по общности интересов. Имело значение и немалое, что мы, как лица определённой квалификации, пополняли в институте очень поредевший учёный персонал, необходимый, повидимому, для поддержания видимости интенсивной работы.

Однако же, несмотря на всё это, даже такой чуткий и отзывчивый человек, как доктор Гакбарт, не счёл возможным предоставить нам более удовлетворительные условия жизни, руководясь, очевидно, существовавшими ограничениями для иностранцев с востока, нарушать которые он конечно не мог.

В первый день, после приёма у Гакбарта, мы на работу не ходили. Постарались разыскать дворника и попросили соломы для набивки наших старых, ещё киевских мешков. Тут вспомнили, что мешки эти в багаже, ещё не полученном, и попросили подводу. Вскоре мы уже ехали, захватив все документы в моём старом портфеле. Перетащив уже на свой чердак все привезенные со станции вещи, мы вдруг обнаружили отсутствие среди них портфеля с документами. Видимо я забыл его на платформе перед будкой пакгауза. Опрометью бросился я по всем многочисленным конюшням в поисках какогонибудь работника. Наконец заметил молодого поляка, что привёз нас со станции в день прибытия, и уже пять минут спустя он выкатил из сарая на большой серой лошади, запряженной в щегольскую лёгкую пролётку, на которой мы мигом добрались до станции, где среди чистого поля стоял одиноко портфель.

Набив соломой матрацы и разместив их прямо на полу,

мы отдохнули немного, пообедали всё в той же институтской кухне и решили побродить вокруг усадьбы института, представлявшей собою только лишь бывшее владение богатого помещика, оказавшееся, однако, очень хорошо приспособленным для специальной работы по селекции растений. Пройдя немного по селу, мы увидели церковь, куда как раз подъезжало несколько старомодных экипажей, крытых блестящим чёрным лаком. В переднем из них сидели жених и невеста с грубыми простонародными лицами. Он был в чёрном фраке, она в белом подвенечном наряде. Колокол заунывно гудел. За церковью начиналась длинная улица, где было несколько магазинов, почта, аптека, приёмная врача и довольно большой, хорошо оборудованный молочный завод. Возвращаясь, мы снова обратили внимание на высокую фабричную трубу, что так вызывающе торчала как раз позади большого сараеподобного строения, где на чердаке помещалась наша квартира. Четыре месяца спустя, перед наступлением весны, труба эта, из предосторожности, была взорвана по распоряжению доктора Гакбарта, вызванными им сапёрами. Мы, значит, трусили даром. Усадьба действительно походила на фабрику. В огромных, высоких кирпичных сараях, крытых черепицей, помещалось всё необходимое для большого полевого, молочного и свиноводческого хозяйства. Одна половина нашего строения была занята под специально оборудованный свинарник, откуда весьма часто доносился к нам неистовый визг. Внизу под нашей квартирой было три хороших комнаты, где стояла мебель и кое-какое лабораторное оборудование, но эти комнаты пустовали. Довольно значительное количество зерновых продуктов высокого качества, а также свинины и молока, — всё это сдавалось государству, а на долю института оставлялось только необходимое для стола служащих и рабочих. На нашу семью выдавали из хозяйства только большое количество грубого ржаного хлеба и, ежедневно, полведра сепарированного, но ещё вполне сносного молока. Сало и свиное мясо выдавали па карточкам в сельской лавке, в довольно значительном количестве, также как и сахар, макароны, а

также папиросы, которые мы собирали на всякий случай для обмена.

К концу первого дня зашли к нам, познакомиться ближе, доктор Гакбарт с женой. Они были очень любезны, принесли новую эмалированную посуду для кухни и, в том числе, большой кувшин, который жена доктора советовала ставить с водой на топящуюся чугунную печку, чтобы у нас была постоянно горячая вода. Мы раздобыли также у них большой таз, которым можно было пользоваться для стирки и купанья, за неимением душа. В кухне была большая плита, где топили брикетами, большой низкий шкаф для посуды под стеной и такой же длинный простой некрашенный стол, вдоль которого стояли две такие же скамьи. Была также в кухне у окна старая железная кровать без досок и матраца. Её мы предоставили бабушке, раздобыв доски и набив соломой мешок. На третий день принесли ещё три грубо сделанные из досок кровати для второй комнаты. Там стояла старая дощатая этажерка, где мы разместили свои книги, после чего впервые почувствовали себя немного уютнее среди чуждой и суровой обстановки этого угрюмого, ненужного нам угла на самом востоке Восточной Пруссии, выдвинутого навстречу к фронту. Нашлось ещё три кривых старых стула и появился наконец монтер, чтобы включить ток для пользования двумя всего маленькими лампочками, по одной в комнате.

На третий день уже началась наша регулярная работа. Сыну дали стол у окна, выходящего в парк, в комнате второго этажа, где сидели лаборантки Мария и Раиса. Меня посадили в большой комнате напротив по коридору, рядом с кабинетом доктора Гакбарта. Мне было предоставлено всё имевшееся оборудование для цитологической лаборатории, состоявшее всего лишь из плохого, устарелого микротомы и такого же микроскопа. Последний был захвачен, в качестве трофея, где то в Царском Селе. Как после выяснилось, в Лаукишкене были все необходимые современные инструменты, но они были вывезены в Мюнхеберг, под Берлином, в порядке эвакуации, ещё задолго до нашего появления в

Лаукишкене. Да и не было здесь нужды в таких инструментах, так как настоящая научная работа давно уже здесь прекратилась. Тем не менее, много позже, после Рождества, когда появился в этом филиале сам профессор из Мюнхенберга, директор Института генетики, регулярно посещавший, время от времени, свои филиалы в Лаукишкене и Розенгофе, под Гейдельбергом, он сам предложил мне сделать очень простые эксперименты с растениями сои, в связи с вопросом фотопериодизма. К моему удивлению, результаты опытов показали профессору стоящими внимания. Но можно было, впрочем, догадываться, что всё это было неискренно: наблюдения мои были ни к чему, и всё это делалось исключительно с целью поддержания видимости продолжающейся научной работы. И это было — мои опыты с соей — всё, что я сделал за почти полтора года своего пребывания при институте. Сын считался лаборантом доктора Херча, заведующего нашим филиалом. Он появлялся в Лаукишкене редко, и мы увидели его, в первый раз, только через месяц после нашего приезда. Он с первого же знакомства подружился со своим лаборантом, нашим сыном, который проявлял особую способность располагать к себе немцев, ничем, однако, кроме своего мягкого, вкрадчивого тона их не подкупая. И эта его способность много раз выручала нас, как во время войны, так и после. Но он был способен также, и часто весьма некстати, быть неожиданно дерзким с ними, что несколько раз едва не приводило к самым нежелательным результатам. Доктор Херч не потребовал от сына решительно никакой специальной работы. Он толко усадил сына в своём пустующем кабинете за пишущую машинку и попросил его научиться пользоваться ею, чтобы затем сын, не торопясь, как он предупреждал, понемножку, переписывал какие то карточки для библиотеки, которых и было всего не более двух-трёх десятков. И тут же, в кабинете, когда слышались из соседней комнаты голоса его девочек, доктор, уже слыхавший, повидимому, о художнических способностях сына, попросил его нарисовать портреты жены и дочерей, и сын с большой охотой принялся за это занятие в

служебное время, по распоряжению доктора. В следующий свой приезд доктор Херч, уже весной 1944 года, раза два сводил сына на свой, тут же вблизи оранжерей расположенный участок с посевами некоторых кормовых трав, из цветков которых брали лаборантки, Мария и Лариса, материал для микроскопических препаратов. И это было всё, что сделал сын как лаборант за все одиннадцать месяцев своего пребывания на этой работе.

С женой доктора Херча нас познакомила Эрна вскоре после нашего приезда. Эрна рассказала, по-видимому, при каких условиях жена потеряла в поезде шляпу, так как через несколько дней фрау Херч передала нам круглую картонку со вложенной новой плюшевой шляпой. В приложенной записке стояло, что одна дама, прослышав о случае с нами в поезде, предлагает эту шляпу жене взамен утерянной. Не было сомнения, что этой дамой была сама фрау Херч.

Лаборантки, Марья и Ранса, были весь день заняты изготовлением микроскопических препаратов, но у них в распоряжении не было никакого микроскопа, пригодного для изучения этих препаратов, и ни они сами, ни доктор Херч, ни разу и не подумали о том, чтобы просмотреть эти сотни препаратов, пригодных, по методу изготовления, к их изучению в течение только одного дня. И лаборантки, сидя у своего стола и занимаясь этой работой, болтали, одолеваемые скукой, втягивая в разговоры и сына, которому не так легко было коротать своё время, сидя за пустым столом, без определённого дела перед большим окном, выходящим на унылый, болотистый, тоску наводящий парк. Я же сам, просиживая рабочее время отдельно от сына, в большой комнате напротив по коридору, с беспросветным унынием пытался всё же не сидеть сложа руки и приготовлял многочисленные препараты из материала по своему выбору и бегло их просматривал. Но никто из всех членов института, ни одного разу не поинтересовался, что же собственно я делаю. Я должен был только сидеть на своём месте в служебное время. Я всё возился со стёклышками и, сидя против окна с

видом на развесистый, слегка заснеженный столетний дуб, а за ним — проглядывавшее острие колокольни, с тоской прислушивался к печальному перезвону колоколов. Так жутко было себе представлять, не будучи в силах отогнать гнетущие мысли, что вот мы заброшены сюда, так глубоко на восток, в такую непосредственную близость ко всё надвигающемуся фронту, по прихоти этой небольшой группы немецких ботаников и, что с каждым днём приближается для нас наступление критического момента; что мы сидим здесь, прикрепленные к этому месту, в то время как на наших глазах ежедневно, по отличному поссе, ведущему от Тильзита через наше село, всё тянутся и тянутся, непрерывной вереницей, одна за другой, нагруженные пожитками телеги с беженцами из Прибалтийских стран. А что же будет к весне, когда ожидается наступление с востока? .. И нам суждено было прожить здесь, в такой обстановке, одиннадцать месяцев и, в решительный момент, вырваться отсюда только благодаря исключительной любезности и доброжелательству доктора Гакбарта. А пока всё было ещё спокойно в институте, несмотря на всё чаще доходившие тревожные слухи.

Промаявшись в лаборатории до пяти часов вечера, мы уже с некоторым оживлением возвращались, в темноте, ощупью, на свой чердак и, подкрепившись уже приготовленными бабушкой яствами, усаживались под единственной лампочкой за чтение, главным образом Диккенса, собрание сочинений которого нам удалось привезти из Киева. Зима, что началась для нас так внезапно наступившей метелью, при вынужденном переезде на открытой площадке вагона, стояла очень мягкая, благодаря влиянию Балтийского моря, заметному в такой степени только на узкой полосе вдоль берегов. Тихая, безветренная погода с облачным небом, но почти без осадков, держалась до самого Рождества и было настолько тепло, что можно было бы, по примеру лаборанток, выходить на работу без пальто. В пять часов вечера было уже совершенно темно, ни звёзд, ни огней, и один раз, возвращаясь с работы, мы заблудились и попали в пруд,

где впрочем воды почти не было. Первый настоящий снегопад случился среди ночи, в полной тишине, без малейшего ветерка, за неделю до Рождества, и температура понизилась до - 17°C. Но такой зимы стало только на одну эту ночь. Утром было уже около нуля, а к полудню весь снег уже растаял.

По воскресеньям частой гостьей была у нас Эрна Дитмар. Она водила нас по окрестностям, показывала достопримечательности, вид которых только повергал нас в безысходно тоскливое настроение. Лаборантка Марья Семеновна часто удивляла нас своей оживлённой и откровенно радостной манерой, с которой она сообщала, в рабочее время, по утрам, крайне тревожные новости о положении на фронте, что проходил вдоль границ прибалтийских стран. Доходили эти слухи к ней, по-видимому, через её знакомого молодого человека, приезжавшего к ней по воскресеньям из Тильзита.

— А вы слышали, — с явным и плохо скрываемым ликованием щебетала она, — большевики уже заняли Нарву, немцы отходят к Ревелю и Таллину... — Было очевидно, что такой ход событий очень ей по душе, и мне приходилось, принимая во внимание неуместность таких разговоров в лаборатории, представляться непонимающим её явно просоветских настроений. И я принимался её утешать, — мол, всё это ложные слухи, мы спокойно можем сидеть здесь и работать на месте. Такие сцены повторялись часто. Вторая лаборантка, Раиса Ивановна, получала часто письма от жениха, военного из РОА, в Литве. Возможно, что и эти письма были источником тревожных слухов. Но было пока еще всё спокойно вокруг нас, и одного взгляда на нашего уравновешенного, занятого своей текущей работой доктора Гакбарта, безусловно хорошо осведомленного во всех вопросах касательно положения на фронте, было достаточно, чтобы вновь обрести столь желанное душевное равновесие. И ободряюще действовало довольно часто передаваемое Эрной сообщение, что вот, мол, завтра доктор снова отправляется на охоту вместе с бухгалтером.

Как всегда немного прихрамывая, сдержанный и серьёзный, вошёл однажды, в начале декабря, в лабораторию доктор Гакбарт и предложил нам, мне с сыном, поехать на следующий день, в служебные часы, в соседний городок Лабиау, где он предлагает помочь нам добыть разрешения на покупку костюмов. Слишком уже убогими, несоответствующими окружающим условиям, представлялись, видимо, ему наши ветхие нищенские костюмы. Уже в восемь утра сидели мы с доктором в открытом четырехместном, на высоком ходу экипаже без козел, и доктор сам правил парой рослых породистых лошадей. Но за всё время, более получаса, езды по отличному шоссе — аллее из вековых деревьев, ни одним словом не обмолвился с нами доктор, также как и на обратном пути, — то ли это из особой, ему присущей сдержанности, то ли — из за нашего плохого знания языка и нежелания нарушать уже раз установившиеся, с самого начала, исключительно официальные отношения.

Доктор получил для нас нужные талоны, и нам продали довольно плохие костюмы из грубого искусственного волокна. При выезде из города доктор уже ожидал нас, сидя в экипаже. Мы поблагодарили его и уселись на свои места, чтобы, в полном какого то неприятного напряжения молчании, возвратиться в Лаукишкен.

IV

Еще в Киеве, незадолго до эвакуации, приехала к нам из Конотопа, который вскоре после этого был занят советами, семья родственников жены, кузина её с дочерью, Кити, и матерью, сестрой нашей бабушки. Семья их, на том основании, что дед Кити со стороны отца был сыном обрусевших немцев, была приписана к « фольксдойче », и они были вывезены из Киева наделю раньше нас, в специальном поезде. Кити посещала нас довольно часто ещё до войны и не оставалась равнодушной к нашему сыну, своему троюродному брату, тогда еще подростку. В Германии её приняли на железнодорожную службу в качестве кондуктора, с местом жительства во Франкфурте на Одере, где вся их семья проживала в привокзальном помещении. Каким-то образом Кити провела, что киевских научных работников эвакуировали в Познань, но явилась в лагерь уже после нашего отъезда в Восточную Пруссию. В лагере она узнала о месте нашего пребывания. И вот, в первых числах декабря, появилась она в Лаукишкене, пользуясь бесплатным проездом. Приезд её внёс некоторое оживление, мы узнали кое что новое о лагере познанском и о семье Кити, которая не скрывала, что явилась с целью возобновить свою дружбу с нашим сыном. В тесноте да не в обиде, — пришлось нам потесниться и устроить её ночевать на посудном шкафу в кухне. Отношения её с сыном начали налаживаться в несколько большей степени, чем это было для нас желательно, так как в это время как раз завязалась у сына переписка с его старой знакомой, студенткой, вывезенной немцами на принудительную работу из Киева ещё в 1942 году, в качестве прислуги в семье одного профессора из Геттингена, дом которого находился в, расположенном поблизости от Геттингена, городке Мюнден. Работа была не тяжёлая, но про-

фессор этот оказался крайне суровым человеком, требовательным и придирчивым, жена же его относилась к Галине с большой симпатией, а дети их даже очень её полюбили. Но в 1943 году в Мюндене наступил почти полный голод, население города разбрелось по окрестным фермам, а Галине пришлось перейти на работу к фермеру в небольшом лесном посёлке в десяти километрах от города. Работа была изнурительная, ей приходилось обслуживать полностью несколько коров и, хотя она успешно справлялась там и её там очень ценили, настроение у неё было тяжёлое и она, получив от сына ряд писем из Лаукишкена, стала питать надежду на переезд к нам в институт в качестве лаборантки, о чём сын уже собирался просить доктора Гакбарта. Легко представить себе, насколько некстати было это появление у нас кузины Кити с её планами, в свою очередь, просить доктора Гакбарта также устроить её на работу в институте и переехать сюда со своей матерью и бабушкой.

И вот, по настоятельной просьбе Кити, сын всё же решился обратиться к доктору за разрешением на переезд в Лаукишкен и присоединение к нам всей семьи кузины Кити. Чрезвычайно отзывчивый и доброжелательный, доктор принялся всерьёз хлопотать в Кенигсберге и в центральном институте генетики в Мюнхенберге, под Берлином, о таком разрешении. И, месяца через два, когда Кити успела побывать у нас ещё два раза, получено было, наконец, разрешение на приезд этих трёх лиц в Лаукишкен, но только на срок, не превышающий двух недель. К этому времени, однако, и сама Кити потеряла уже охоту ездить к нам, и назрела уже просьба — устроить переезд в Лаукишкен давнишней приятельницы и теперь уже невесты нашего сына, Галины, из отдалённого пункта Западной Германии. Можно себе представить, до какой степени неловко было нам, особенно сыну, отвечать доктору, что мы не заинтересованы более в приезде семьи племянницы нашей Кити, но что, в данный момент, нам хотелось бы, чтобы сюда была переведена на работу в институт наша будущая родственница, Галина В-ская, из округа Кассель, Западная Германия.

Доктор терпеливо и внимательно выслушал эту, столь необычную и даже недопустимую в нашем положении, просьбу и, записав все данные, начал новые и уже весьма затруднительные хлопоты. В результате, после более чем двухмесячной переписки с округом Кассель, доктор нам заявил, что перевод Галнны в округ Кенигсберг невозможен, и что он сам, к сожалению, ничем более в этом деле быть полезен нам не может. Было это уже весной 1944 года, когда тревожные вести с фронта делали все эти хлопоты уже совершенно лишёнными всякого смысла.

Но, пока-что, подходило только ещё Рождество 1943 года, и доктор Гакбарт, которому уже стало известно, что жена пишет сказки, передал нам через Эрну просьбу к жене написать к праздникам небольшую рождественскую сказочку, которую он мог бы подарить своим детям. Он хотел бы, чтобы там упоминалось о «звёздочках или о чем либо подобном», рождественском. Жена с охотой взялась за свою любимую работу и написала сказку «Первая Звёздочка», которую Эрна тут же перевела на немецкий, переписала на машинке и передала доктору за несколько дней до праздников.

Так как в первый день Рождества занятий не было, мы не спешили встать пораньше и всё ещё лежали в постели, как вдруг, в начале одиннадцатого, кто-то постучался в дверь. Бабушка, бывшая в первой комнате, немедленно открыла. С любезными улыбками, поклонами и приветствиями вошли доктор Гакбарт и его жена, нагружённые большими свёртками в красивой цветной бумаге. Мы едва успели прикрыть свою дверь, и прошло не менее пяти напряжённых молчаливых минут, пока мы одевались и умывались, в крайнем смущении. Получив, наконец, возможность выйти к ним и поздороваться, мы были ещё более смущены тем выражением какой-то безграничной доброты и любезности, с которой они на нас смотрели, произнося слова благодарности за столь чудесную, по их просьбе написанную, рождественскую сказку для их детей и открывая свои пакеты, со множеством разнообразных и самых изысканных немец-

ких рождественских печений, изготовленных самою фрау Гакбарт. Мы не смогли и двух слов связать в благодарность за такое внимание.

После праздников, в январе, приехал в Лаукишкен директор Института, профессор Рудорф. Постоянной его резиденцией был центральный Институт Генетики в Мюнхенберге, в пятидесяти километрах на восток от Берлина. Профессор пробыл у нас около недели. На второй день он пришёл к нам на квартиру, был изысканно любезен и долго беседовал, выражаясь по немецки так просто, ясно и вразумительно, что мы свободно могли поддерживать разговор. Высокого роста, какой то плоский при своей худобе, с сухим, синеватым лицом и холодным взглядом, он держал себя с нами хотя и очень любезно, но видимо к нам снисходил, тонко придерживаясь в степени своей симпатии и любезности определённых границ. Начал с того, что показал большую фотографию его двух взрослых сыновей и попросил сына нарисовать тушью копию в увеличенном размере. Пришлось сыну усиленно поработать и он успешно справился с этой задачей до отъезда профессора. Он обратился затем ко мне и предложил заняться вопросом о фотопериодизме у растений сои, то есть, о влиянии той или иной продолжительности дневного освещения на рост и время цветения этого бобового растения, которое культивировалось в теплицах нашего филиала. И, хотя этот вопрос был весьма далёк от моей специальности, я дал согласие немедленно приступить к экспериментам и мы направились в теплицу, где я и сообщил ему свой, только что пришедший мне в голову, простой план постановки этих опытов, который ему очень понравился. Перед отъездом, он вторично появился у нас на чердаке, и мы тогда уже настолько осмелели, что решились попросить его о самом волнующем: — перевести нашу семью, при первой возможности, в Мюнхенберг, так как мы опасаемся здесь приближения фронта. Но он дал нам понять, что, в данное время, положение очень устойчивое и нет оснований для беспокойства, в случае же необходимости, он во время устроит наш перевод.

Несколько успокоившись, мы, после его отъезда, начали уже входить, пока-что, в некоторую колею и не так уже волновались по поводу слухов. В это время появилось в Ляукишкене новое лицо, молодой голландец, генетик, прибывший из Мюнхеберга, где он покинул целую группу соотечественников, работавших там в институте, разойдясь с ними в своих политических воззрениях. Статный, с приятными, мягкими чертами лица, но с одной лишь правой рукой, — левую он потерял при покушении на него со стороны русского военнопленного на территории Польши, — он, к нашему удивлению, свободно, хотя и не бегло, но вполне грамотно и почти без акцента, говорил по русски. Он принёс свою любимую книгу — два огромных тома воспоминаний генерала Деникина, которые он основательно проштудировал, — он делился с нами впечатлениями по поводу прочитанного. У него замечалось большое тяготение ко всему русскому и, к нашему еще большему удивлению, — ко всему советскому, — поддался он, очевидно, ядовитому влиянию ловкой пропаганды, как повлияли на него, видимо, и бредни национал-социалистов, в результате чего он и разошёлся со всеми другими голландцами, посланными на принудительную работу в Германию, в Мюнхеберг, а теперь — появился у нас, поблизости от советского фронта, надеясь, очевидно, при знании русского языка, попасть в советский союз, спасаясь от неминуемого преследования у себя на родине после конца войны. И, под конец, он проговорился таки, что изучает русский язык с целью переселиться в Россию. Одинокий, лет тридцати, он, очевидно, готов был на всякие авантюры, что не мешало ему быть человеком добродушным и к себе располагающим. На наш вопрос, почему он не женился, неужели ему было трудно подыскать себе пару на родине, среди тамошних девиц, он возразил:

— А потому, что тело у них хорошее, а характер плохой.

В феврале, когда тонкий снежный покров лежал вокруг, и дни стояли хмурые, без солнца, появилась в институте группа военных на большом грузовике, из Кенигсберга. Оказалось, что доктор вызвал отряд сапёр, чтобы они

взорвали высокую заводскую трубу, которая придавала всей группе наших строений вид фабрики. Доктор давно уже собирался её взорвать, и его решение сделать это теперь ясно указывало на ухудшение положения на фронте. Труба стояла среди площадки между постройками на широком фундаменте. Сапёры очень ловко заложили небольшой патрон у основания трубы, с тем расчётом, чтоб она упала в ту сторону, куда простиралась площадка. После слабого взрыва труба упала как подкошенная, оставив после себя лишь продолговатую груду кирпичей.

V

Так тянулась эта довольно тёплая и почти бесснежная зима, и всё чаще доносились тревожные вести о приближении фронта, как вдруг пришла на моё имя телеграмма из Мюнхеберга от профессора Рудорфа: «Немедленно приезжайте, захватите жену и микроскоп». Мало была понятна цель вызова и, тем более, в такой форме. И зачем было тащить туда этот негодный старый микроскоп, когда там стоит уже целый ряд новых, вывезенных из Лаукишкена микроскопов, и ещё большее число инструментов центральной лаборатории? Но следовало ехать, а тут ещё сын захворал, не мог выходить на работу, и это усиливало беспокойство.

Наскоро собрались мы с женой, с тяжёлым сердцем разлучаясь с семьёй в такое время. Была пересадка в Кенигсберге, где чувствовалась тревога, почти паника, среди беженцев из прибалтийских стран. Мы попали к поезду, который останавливался на каждой станции, и более восемнадцати часов нас толкали и жали со всех сторон, проклиная наш угловатый футляр с микроскопом.

Мюнхеберг — городок с населением около четырёх тысяч, с крайне устарелыми постройками и городским хозяйством, до того даже, что вместо канализации журчали вдоль тротуаров дурно пахнущие ручейки сточных вод. На этот раз, впрочем, мы видели этот город только издали, поскольку дорога от вокзала к институту проходила в противоположном направлении.

По сторонам узкого шоссе, на голой песчаной почве, тянулись перелески из малорослых, корявых сосен. Добрались к большому шоссе на Берлин и увидели в просвете широких ворот группы зданий институтского городка. Дорога вела к выступавшему справа, поблизости, большому

трехэтажному зданию, расположенному вдоль дороги по всей длине. Это был корпус, предназначенный для приёма международных учёных конференций. Наверху располагались многочисленные комнаты для приезжающих, со всеми удобствами, внизу — большой конференц-зал и почти такая же столовая, в полуподвале — кухня и склады продовольствия.

Мы направились к главному входу и на первой же площадке лестницы столкнулись с профессором. Было похоже, что он поджидал нас в коридоре. Был он весьма радужен и оживлён, повёл нас на третий этаж, где было множество комнат для посетителей, и открыл для нас одну из них, видимо заранее для нас предназначенную, с очень изящной светлого дуба мебелью и уютной лампой между превосходными кроватями для супружеской пары. Он усадил нас и несколько минут, в подчёркнуто гостеприимном тоне, поддерживал вежливую беседу, после чего предложил нам пока отдохнуть, а к двенадцати часам отправиться вниз, в общую столовую, в час же дня он хотел бы показать нам библиотеку Института, откуда он поведёт нас уже в свою лабораторию.

В столовой, обширном зале с высокими потолками и огромными окнами, нас встретила сестра Эрны Дитмар, Эмилия. Она обратила наше внимание на группу молодых голландцев, числом двенадцать, вывезенных в Германию на принудительные работы. Они были заняты рутинной работой в оранжереях и на виноградниках. Из научных сотрудников Института здесь обедали только временные, иностранцы из беженцев, основные же работники имели здесь квартиры со всеми удобствами. Всем лицам, желающим пользоваться общей столовой, выдавались продовольственные карточки, из которых вырезались для столовой только некоторые талоны. Точно такие же карточки выдавались и всем остарбайтерам, равным образом пользовавшимся этой общей столовой и проживавших в хорошо оборудованных бараках на территории Института.

Библиотека помещалась в главном здании, внушительном пятиэтажном корнусе тёмносерого цвета. Зал библиотеки, очень высокий, в два этажа, был до потолка отделан

панелями тёмного дуба. Библиотекарь, небольшого роста, с худым, измождённым, но каким-то одухотворённым лицом и глухим, тихим голосом, обратился к нам на чистом русском языке с петербургским выговором. Он там и родился и учился в Пажеском корпусе, а в 1918 году бежал в Швецию, где изучал библиотечное дело и принял там подданство, но, незадолго до начала второй войны, переехал в Германию. Главным его занятием в Мюнхенберге было составление рефератов из работ по генетике, публикуемых на различных языках в мировой периодической литературе. Помощницей его была Эмилия Дитмар, сестра Эрны, занимавшаяся технической библиотечной работой.

Около часу дня мы уже подходили к лаборатории профессора, находившейся в одном из многих павильонов, расположенных, как и оранжерей, вдоль длинной улицы, проходящей по территории Института. Главным предметом работы было у него цитогенетическое исследование некоторых разновидностей капусты. Профессор сидел уже за своим микроскопом, а за другим столом, у окна, помещалась его главная помощница, беженка из Донецкого бассейна, казачка, вдова лет тридцати пяти, приятной наружности, по фамилии Голдмаер, из числа « фольксдойче ». За другим микроскопом сидела её хорошенькая восемнадцатилетняя дочь, лаборантка. Вдоль стены, что против окон, прямо на полу стоял целый ряд превосходных микроскопов. Я поставил рядом с ними свой старый инструмент, чтобы так и не открывать его до самого возвращения в Лаукишкен.

Профессор усадил нас у своего стола и предложил мне полюбоваться под его микроскопом хромосомами капусты и высказать мои соображения по поводу данной цитологической картины. Я же, как эмбриолог по специальности, а не цитогенетик, не смог сказать ничего по существу. В таком же духе продолжались наши занятия с ним и следующие несколько дней, и трудно было догадаться, с какой, собственно, целью вызвал нас сюда профессор. По возвращении из лаборатории в нашу комнату, изолированную среди огромного необитаемого здания, мы особенно глубоко почув-

ствовали всю странность нашего положения здесь и свою оторванность от семьи, по причине этой непонятной прихоти профессора. Чувствуя сильнейшую жажду после дороги и целого дня утомительного шатания по усадьбе, мы решили купить себе немного дешевого суррогата пива, которое продавалось, как нам сказали, в лавочке на шоссе против ворот Института. Не успели мы, возвратившись к себе, поставить бутылку на стол, как раздался где то, в отдалении, какой то стихийный тяжёлый грохот. И мы увидели из окна на горизонте тысячи мелькающих разрывов зенитных снарядов над окраинами восточного Берлина, под тяжёлый грохот авиабомб, от которого содрогалось слегка и наше здание. Это был очередной американский налёт на Берлин и «ковровая» бомбардировка. Понаблюдавши еще несколько раз эти налёты по вечерам, мы получили, наконец, распоряжение возвратиться в Восточную Пруссию.

После нового тяжёлого переезда до Кенигсберга, в постоянной толкучке медленно тянувшегося поезда, мы были на вокзале очень встревожены паническим настроением беженцев со стороны Литвы и с большим нетерпением ожидали прихода поезда местного сообщения, который доставил нас, часа через два, в Лаукишкен, где мы смогли убедиться в полном спокойствии окружающей обстановки и в том, что сын уже здоров и ходит на работу. А вскоре к нам прибыл из Риги директор нашего филиала, доктор Херч, и, своим бодрым настроением, внёс большое успокоение. Он тотчас же появился в цитологической лаборатории и весьма любезно нас приветствовал, особенно же своего лаборанта, сына нашего, которого он тотчас же повёл на свой участок с коллекцией кормовых трав. Он пробыл в Лаукишкене несколько дней, отдыхая у себя дома или болтая с лаборантами, и выехал обратно в Латвию. И потянулись снова однообразные, полные смутных, тревожных мыслей дни, в ожидании неизбежного летнего наступления с востока.

Но пока было ещё тихо вокруг, и вялый, неприметный ход весны невольно останавливал внимание на всех деталях окружающего печального пейзажа. Только немногие из де-

ревьев институтского парка вблизи самого здания стояли ещё на сухом грунте, а несколько ниже начиналось уже заболоченное пространство, незаметно переходящее в русло небольшой реки, за которой простирался болотистый луг. Наши весенние прогулки направлялись неизбежно через этот луг, который, по мере удаления от реки, становился более сухим, местность повышалась, показывались кусты ив и снова, под небольшим обрывом, появлялась та же река Прегель. Там было даже немного песку на самом берегу и можно было купаться, чем мы воспользовались всего лишь один раз летом, когда нас повели туда три немки, сотрудницы института, в сопровождении уже знакомого нам молодого голландца, который тотчас же разделся и бросился в реку, тяжело загребая своей единственной рукой и, в промежутках между её судорожными взмахами, почти с головою погружаясь в воду. От реки можно было возвращаться к селу по красивой берёзовой аллее, в сторону от которой вела дорога к старому мрачному лесу из полуусохших елей, на скудной замшелой почве. Мы всё же ходили в этот лес иногда летом и, лёжа на моховой подстилке в жуткой тишине среди гнетущей чужой природы, прислушивались к то и дело долетавшим звукам отдалённой артиллерийской канонады. А однажды, когда временно как то притихли тревожные слухи, мы решились даже на отдалённую прогулку до самого берега морского залива Куриш-Гаф, в десяти километрах от Ляукшкена. Мы шли туда часа два по хорошему шоссе, которое проходило всё время среди сырого, мрачного лиственного леса, и целые тучи комаров совершенно отравили нас эту, и без того невесёлую, прогулку, во время которой мы не встретили буквально ни одного человека.

Наконец мы добрались до небольшого посёлка дачного типа, из пяти-шести всего домов, среди голого песка, совершенно необитаемых, без всяких признаков жизни, и увидели, наконец, этот залив, который представлялся мне чем то замечательным, когда, ещё мальчиком, я читал его описание в учебнике географии. Там был грязноватый песок, кое где торчали сухие стебли жёстких береговых трав и от-

таalkивала своей мутью, желтизной и неподвижностью мелкая, холодная вода. Мы всё же поплавали немного и, одеваясь уже, заметили очень высоко в чистом, но каком то сером небе долго остававшийся след от аэроплана, летевшего на запад, вероятно советского разведочного. Мы быстро собрались и двинулись в обратный путь с каким то невольным страхом, что удалились настолько от дома в такое тревожное время, и вздохнули свободно, только когда уже начали приближаться к селу.

Подходя уже к дому, мы заметили под стеной на земле птенчика воробья, выпавшего из гнезда, ещё довольно бодрого. Жена, которая с раннего детства с большой заботой и терпением всегда старалась помочь таким оставленным птенчикам, подняла его и понесла наверх. Он нисколько не дичился, сразу же стал охотно принимать корм и сделался вскоре совершенно ручным. Спал он в, найденном нами, старом воробьином прошлогоднем гнезде, которое мы прикрепили под крышей чердачного чулана. Он не выносил, если к нему подходил, когда он начинал уже засыпать и тогда больно кусался. Днём же, свободно летая по комнатам, он то и дело садился на плечо того или другого из нас, особенно же охотно подлетал к бабушке и, усаживаясь у неё под волосами около уха, мог сидеть там подолгу, но, при её малейшем движении, он больно кусался, норовя покалечить ей ухо. Во время обеда он прыгал по столу и заглядывал в тарелки, приподнимаясь на ципочки, и получал лакомые кусочки. Жена часто выносила его на двор и там выпускала. Высоко взвившись в воздухе, так что и видно его уже не было, он вдруг появлялся, точно падающий камешек, и сразу опускался на плечо своей хозяйки, что приводило в восторг и удивление немцев, особенно тех, кто не знал, что он ручиой. В этой большой усадьбе постоянно носилось в воздухе множество крупных, напоминающих ласточек, стрижей, которые гнездились под черепичными крышами хозяйственных построек и постоянно, а особенно перед заходом солнца, вылетали стрелой из гнезд и, проделав высоко в воздухе, на фоне яркого вечернего неба, несколько стреми-

тельных вражей, с такой же скоростью прятались в свои гнёзда. Непрерывный, мощный, какой то заливисто-серебристый свист этого множества птиц, особенно, когда солнце склонялось уже к закату, создавал какое-то новое для нас, чарующее настроение мира, спокойствия и тишины, подчёркивая, в то же время, весь трагизм нашего положения в этом далёком восточно-прусском захолустье.

Ещё ранним летом появилась у нас в Лаукишкене сестра жены, Вера, прибывшая на автобусе из Риги. Мы были связаны с ней перепиской ещё с времени нашего пребывания в Познани. Она, ещё в 1923 году, эмигрировала в Латвию с мужем, латвийцем, бывшим петербургским преподавателем физики, который в 1918 году, гонимый голодом, переехал на «подножный корм» к своей родственнице в город Прилуки, где он и встретился с Верой. Жили они в Риге, в полном довольстве и благополучии, до 1940 года, когда вся Прибалтика была «освобождена» советами. Приезд её в Лаукишкен был для нас хорошим признаком некоторой ещё устойчивости положения, и мы даже предприняли с ней поездку по железной дороге в Тильзит, где она, как врач, хотела раздобыть какие-то лекарства. Этот небольшой, в то время совершенно обезлюдивший, город известен в истории как место, где был заключён в 1807 году Наполеоном I Тильзитский мир с Россией и Пруссией. Вера отбыла вскоре обратно в Ригу. А дня через два весь мир был потрясён известием о покушении на Гитлера в его главной квартире. И мы не имели тогда ни малейшего представления о том, что этот взрыв бомбы произошёл совсем поблизости от Лаукишкена, в Восточной Пруссии, где, как выяснилось после войны, находилась в то время главная квартира. И, очевидно, не так уже плохо защищалась в то время эта область, и не было-ли это причиной того непонятного нам спокойствия администрации института и уверенности в твёрдости положения на фронте.

Но проходило лето, и тревожные слухи усиливались. Передавала их, как всегда, лаборантка Марья Семёновна.

И вот, среди ночи, она разбудила нас сильным стуком

в дверь, отделявшую её комнату от нашей, и, с нескрываемым торжеством, сообщила, что горит Тильзит. Яркий розовый свет, озарявший все углы нашей комнаты, был подтверждением её слов. Но тишина была полнейшая, город был, по-видимому, подожжен зажигательными бомбами. А неделю позже, мы были свидетелями такого же ночного пожара Кенигсберга. На утро, выйдя в окрестные поля, мы увидели, что вся голая серая почва покрыта тонкими чёрными пластинками обуглившихся листков из книг, которые всё продолжали опускаться потихоньку, приносимые лёгким дуновением ветерка. Оказалось, что сгорело одно из величайших книгохранилищ Европы — библиотека Кенигсбергского Университета. А в старой, средневековой части города, на острове, окружённом кольцевым каналом, десять тысяч человек погибло в огне. Было ясно, что внимание союзников обращено уже на Восточную Пруссию, и надо было ожидать новых событий на фронте, что и подтвердилось усилившимся наплывом беженцев из Прибалтики.

VI

Тревога всё более возрастала, и начали уже ходить слухи о предстоящем призыве на рытьё окопов — то, чего мы особенно опасались, поскольку это неминуемо должно было коснуться сына, и грозило бы для нас чрезвычайными осложнениями, оторвав сына от семьи во время предстоящей эвакуации. Вскоре был призван на окопы пожилой бухгалтер, и наши тревожения ещё больше возрасли, так как именно он мог донести, куда следует, сообщить сведения о нашем сыне.

В это время сотруднице института Эрне Дитмар пришло в голову, что мы должны поехать с ней в город Лабиау, чтобы сделать там какие-то покупки. Нам было совсем не до этого. Отправились всё же туда по железной дороге и, во-первых, пошли в «внршафтсамт» за получением талонов. Но там мы застали только груды стоящих на полу ящиков с упакованными в них делами и книгами. Столов уже не было, и чиновники, по дорожному одетые, заканчивали спешную упаковку бумаг, — эвакуация... Спешная эвакуация города, расположенного на запад от Лаукишкена. Мы устремились вон из города, к вокзалу, и вдруг увидели на площади только что подкативший грузовик с какими то пожилыми, плохо обмундированными ополченцами, во главе которых стоял небольшого роста пожилой офицер. И в нём мы узнали того подлеца, который пытался вытолкнуть нас на рельсы, когда мы подъезжали к Лабиау десять месяцев тому назад. Оторопелые, мы уставились на грузовик, но Эрна вскрикнула:

— Не смотрите!.. не обращайтесь внимания!.. Мы ничего не видим, мы покупаем материал!..

И мы бросились прочь, со всё возрастающим сознанием уже почти полной безвыходности. Оставалась только

слабая надежда на обещание профессора Рудорфа. Но он был далеко, а здесь уже всё кипело вокруг, и толпы беженцев из Литвы, с семьями на подводах и коровами, привязанными позади, непрерывным потоком двигались по шоссе через Лаукишкен. И как же мы завидовали им: — «Они, по своей воле, заблаговременно уходят от фронта в глубину страны, направляясь по своему усмотрению, мы же, в нашем положении каких то статистов в руках группы немецких учёных, всецело зависим от них. О чём они думают?.. Зачем держат нас в этом жутком прифронтовом углу?..»

На другой день утром неожиданно появился профессор Рудорф, как всегда спокойный и официально-корректный и с тем же непонятным, очень сдержанным интересом к нашей семье, которому, позже, суждено было перейти в безразличие, а затем в пренебрежение и грубость. Он спокойно уверял, что пока опасности нет, и повторил свое обещание перевести нас к себе в Мюнхеберг. А вечером, по случаю его приезда, или ж скорее по какому то иному поводу, происходило нечто несуразное. Во дворе перед главным входом, под развесистым дубом, были поставлены столы, и началась попойка, с участием всех сотрудников института, исключая нас и лаборанток. Это шумное празднество продолжалось буквально всю ночь, до рассвета, и все немцы, во главе с профессором, непрерывно и безудержно горланили в каком то диком восторге. Мы засыпали и просыпались под эти крики и возгласы, и было как то всё же спокойнее на душе, хотя и удивляло нас такое поведение немцев несказанно.

Но уехал профессор, и снова слухи, толпы беженцев, снова полная безнадёжность. И утром, 3-го октября, мы увидели, что мебель из лабораторий выносятся и весь большой корпус освобождается для нужд военных. Наши столы были перенесены в первый этаж того дома-сарая, на чердаке которого была наша квартира. Две небольшие комнаты были отведены цитологии, а в большой — рядом расположилась военная часть. И было удивительно, что доктор Гакбарт очень заботился о том, какие столы будем занимать

мы — я с сыном, и где эти столы поставить. Но не пришлось нам и одного часа посидеть за этими столами.

С этого дня уже пошло всё по наклонной плоскости. Невообразимый шум и дикие крики доносились всю ночь с нижнего этажа, а на другой день солдаты заняли и нашу лабораторию. И пошли снова слухи, что все молодые мужчины будут отправлены к фронту на рытьё окопов. — Как это удивительно, — заявила вдруг Эрна, без тени доброжелательства, а скорее — наоборот, — что вашего сына не взяли туда до сих пор, уже и наш бухгалтер призван и работает на окопах...

Через два дня этот бухгалтер возвратился с окопов и показал своё настоящее лицо. В результате его закулисных действий, наш сын получил, дня через два, поздно вечером, красную повестку о призыве его на окопы. Её принёс на нашу квартиру незнакомый дворник. Большого ужаса для нас нельзя было и представить. Это было как раз то самое, что висело над нами всё последнее время, как непреодолимый кошмар.

Что делать?.. Единственное: бежать немедленно, в одиннадцать ночи, к доктору Гакбарту, просить о помощи. Его квартира была где то в селе, в частном доме. Мы не были там раньше и с трудом, в тяжком волнении, разыскивали его. И как только сын в двух словах рассказал, в чём дело, доктор, этот на вид суровый человек, не заставил себя просить. Он просто сказал:

— Завтра утром, в восемь часов, вы должны выехать. Сможете ли вы успеть упаковать ваши вещи?

— О да!.. — воскликнули мы и, как могли, сердечно поблагодарили доктора, который улыбался так грустно, говоря, что сам он не имеет права выехать, он может отправить только свою семью, сам же обязан оставаться здесь, чтобы принять участие в обороне Кенигсберга.

Не смея даже верить своему счастью, пробирались мы молча по тёмным улицам села и, не теряя минуты, бросились в чулан, где хранились пустые сундуки и мешки, и приступили к упаковке. Часа через два жена и сын пре-

кратили работу и легли отдохнуть. Я же сам лихорадочно, без перерыва укладывал, зашивал, увязывал, пока не закончил всю работу к шести часам утра. Оставались ещё постели, но к семи часам мы уже выносили вещи на двор и прощались со своим временным убежищем, в котором мы всё же пережили и хорошие минуты.

Во дворе, против главного входа, была уже подана для нашей семьи большая рессорная площадка, кучер поляк сидел на козлах, и пара рослых серых лошадей нетерпеливо перебирали ногами. Когда все мы сидели уже на повозке среди груды тюков и сундуков, всё ещё не веря своему избавлению и опасаясь нового осложнения, подошли к нам обе лаборантки с Эрной и голландец. Эрна просила передать привет сестре. Голландец, облокотившись на край повозки, пожелал нам счастливой дороги. На мой вопрос, почему бы и ему не выехать с нами, ведь в Мюнхеберге работают несколько его соотечественников, — он кратко возразил:

— Потому, что они — мои политические противники.

Но тут кучер тронул с места и мы, помахав шляпами, отъехали, наспех, с чувством облегчения, как вдруг тень новой опасности метнулась в наших глазах: по шоссе, нам навстречу, шагал, помахивая своей толстой тростью с серебряным набалдашником, институтский бухгалтер. Крайнее удивление и даже ярость отразились на его лице. Но он был, видимо, невластен нас остановить, и ему осталось только вежливо приподнять шляпу в ответ на наши прощальные приветствия.

Мы ничего не слышали о судьбе голландца. Эрна с лаборантками, а также семейства докторов Гакбарта и Херча, были эвакуированы в Мюнхеберг месяца через два после нашего отъезда. Тогда же были призваны на военную службу доктор Гакбарт и бухгалтер. Но хозяйственные работники оставались в Лаукишкене до последнего часа и, в январе 1945 года, пешком бежали в Кенитсберг по тонкому, проваливавшемуся под ногами льду залива.

Мы во время прибыли на вокзал, но он был до того забит беженцами и была такая теснота, что мы не имели

времени прикрепить ярлыки к вещам при сдаче в багаж. Результатом этого была очень большая задержка в доставке большей части наших вещей. Оставались только минуты до отхода поезда на Берлин, все вагоны были заполнены, пассажиры стояли на подножках но, при при виде нашей беспомощной бабушки, люди потеснились и пропустили её вместе с женой, а мне с сыном удалось протиснуться в самый последний вагон с нашим ручным багажем, но до самого вечера, когда многие пассажиры уже вышли, пришлось проехать стоя в тесноте. А утром, почти уже у цели путешествия, на станции Зонненбург, мы пережили ужасные минуты. Какой-то молодой офицер со знаком отличия в виде черного креста, войдя в вагон, сразу же бросился к жене и потребовал освободить для него место, грозя выбросить её из вагона. Тут сын, вспыльчивый и не владеющий собой в таких случаях, вскрикнул: — Не касайтесь моей матери, нацишвайн! . . — Офицер ухватился за кобуру, но, опомнившись, молча отвернулся и вышел из вагона. Ко всем перипетиям этого переезда жена прибавила еще неудобство переезда безбилетного пассажира, в лице нашего ручного воробья, которого везла она в маленькой корзинке на руках. Вот эта корзинка и, особенно, — весьма бодрое чириканье, раздававшееся оттуда, и привлекли внимание офицера.

VII

Получасом позже мы были уже на станции Кюстрин и скоро прибыли в Мюнхеберг, уже знакомый нам по весенней туда поездке. Бабушку с воробьём и вещами пришлось оставить на вокзале, поскольку мы приехали неожиданно и лучше было сначала явиться в институт налегке. Мы обратились сперва к знакомому библиотекарю и он направил нас к профессору, кабинет которого был напротив по коридору. Он встретил нас довольно сухо, но тотчас же распорядился о высылке на станцию машины и, к удивлению нашему, повёл нас показывать уже приготовленную для нашей семьи комнату в одном из длинных одноэтажных павильонов, предназначенных для каких то складов. В самом конце здания, в стене обращённой на восток, было широкое окно, рядом — большая дверь, ведущая в склад, где стояли ящики, а в стене слева была узенькая дверь в небольшую угловую комнату, которой и принадлежало широкое окно. Пол был цементный, а под окном стоял радиатор центрального отопления. В комнате не было ни воды ни газа, кран был в стене снаружи. Мы привезли ручной багаж и, оставив бабушку в общесве воробья, отправились в общую столовую, где встретили библиотекаря и сестру Эрны Дитмар, Эмилию. Они повели нас в библиотеку, где Эмилия тотчас же потащила нас к роялю, на котором лежала раскрытая карта Германии, и сразу же ошеломила нас паническими жалобами на крайнюю невыгодность географического положения Мюнхеберга, что здесь далеко не спокойно, что сюда, к Одера, советы ведут молниеносное наступление, немцы бегут, оставляют один город за другим, что скоро положение здесь станет критическим. Под таким первым впечатлением, которое, впрочем, оставалось неизгладимым и дальше, мы и начали свою мюнхебергскую жизнь, не испытав ни

одного дня того относительного спокойствия, найти которое здесь мы так надеялись.

— Что это там делается!.. Что там делается!.. — истерически восклицала Эмилия, — советские войска подходят уже к Одеру!.. — И она возила дрожащими пальцами по карте. В противоположность сестре своей Эрне, которая спокойно оставалась в Лаукишкене, Эмилия уже в то время была в состоянии паники. А когда, полгода спустя, настали и здесь, под Берлином, критические дни, Эмилия совсем потеряла голову.

— А они всё воюют!.. А они всё воюют!.. — глухим своим, немощным голосом вторил Эмилиии её хилый библиотекарь. Он имел в виду фюрера и его клику, которым уже давно было пора сложить оружие. Слова эти повторял библиотекарь очень часто, особенно же после каждой из своих очередных поездок в Берлин на переосвидетельствование в воинском присутствии, что бывало дважды ежемесячно. В связи с этим, нам стала ясна, впоследствии, причина его регулярного отказа от пищи, под предлогом несварения и полного отсутствия аппетита: он намеренно истощал себя голодом, чтобы получить белый билет. Он дождался таки этого счастливого момента в конце марта следующего, 1945 года, и получил тогда даже возможность во время эвакуироваться с библиотекой в Западную Германию.

Мы очень задержались, разговаривая с ними, а надо было спешить к бабушке, которая сидела с воробьем, без обеда, и мы застали её всеми силами отмахивавшейся от этого нахала, который терзал её ухо за то, что она не хочет его покормить. Надо было как то устроиваться в новом помещении, но это было не легко, поскольку мы не получили ещё ничего из вещей, сданных в багаж при выезде из Восточной Пруссии. И пришлось нам всем ночевать просто на полу, без постелей и матрацов, между тем как в том огромном здании, где была общая столовая, пустовали сорок прекрасно оборудованных постелями комнат для приезжающих посетителей.

На другой день мы пошли на вокзал, надеясь получить

свой багаж, но нашли там только два тюка из наших десяти вещей. Мы посещали там склад прибывшего багажа почти ежедневно, но получили только два тюка с постелями, после чего нам заявили, что теперь уже недостающие вещи на вокзал не придут, и справки о них следует наводить в городской багажной станции Мюнхенберга. Мы ходили туда осенью и зимой, пока мне не удалось достать карту железных дорог, и я пришел к заключению, что вещи могли пойти из Кенигсберга на запад, вдоль побережья, и затем быть выгружены на узловой станции Кёслин в Померании. Я подал заявление с точным описанием вещей и, недели через две, мы увидели на складе все шесть недостающих вещей, в том числе и наш телескоп Буша в большом футляре. Это было уже в конце января 1945 года. Мы так и не распаковывали этих вещей, без которых привыкли уже обходиться, а при следующей очередной эвакуации на запад им суждено было потеряться окончательно.

На второй день после нашего прибытия в Мюнхенберг зашёл к нам профессор, и воробей тотчас же сел ему на плечо. Это, видимо, тронуло профессора, и тень прежнего интереса и симпатии к нашей семье промелькнула на его лице. Присесть ему было негде, кроме узких железных кроватей, выданных нам накануне перед вечером, да он и не имел уже тем для беседы с нами. Видно было, что очень уж надоело ему, наконец, возиться с нашей семьёй. И он показал это, когда настала уже последняя эвакуация, и когда он навсегда расставался с любимым его детищем, — когда то организованным и построенным по его предназначениям Институтом Генетики в Мюнхенберге, захватив только библиотеку, часть оборудования и немного продуктов, чтобы водворить всё это в заранее, видимо, купленном для этой цели имени, поблизости от Ганновера, в западной Германии. Он мог эвакуировать туда только основных, штатных сотрудников института, а из беженцев, — только тех, кто был ему особенно полезен. Но всё же и теперь он, поскольку возможно было, заботился ещё о нас, но, сам чувствуя, что почва уходит у него из под ног, не считал нужным быть любезным

попрежнему, словно подготавливая нас к тому тяжёлому часу, когда он будет вынужден уже совершенно отказать нам в своей помощи.

Пока же профессор заглянул к нам, чтобы указать мне и сыну места работы. Сын должен был, если понадобится, помогать в оранжереях при искусственном опылении растений капусты, мне же он указал место для препровождения времени в главном здании, против библиотеки. Там была пустовавшая заброшенная лаборатория с какими то ненужными никому склянками на полках. Профессор не спросил меня ни разу за полгода, чем я занимаюсь, считая, видимо, уже ненужным делать вид, что я могу быть ему полезен.

Через несколько дней после нашего переезда в Мюнхенберг, когда мы только стали привыкать к новой обстановке, случилась воздушная тревога. Мы проходили втроем среди дня вдоль длинной улицы институтского посёлка, как вдруг раздался мощный рёв сирены, и пробежавшие сотрудники подхватили нас и повели в ближайшую оранжерею, где можно было спрятаться в подвальном помещении. Но пока все оставались еще снаружи у входа, и мы могли впервые наблюдать удивительную для нас картину. Огромная, серебристобелая, стройная эскадрилья американских самолётов приближалась с востока, повидимому обходным путём, и, пролетев над нашими головами, направилась к Берлину. И было поистине изумительно, что не одно, а, наверное, множество подобных соединений могли быть построены и лётный персонал был обучен в такой короткий период времени и одной только страной, жизнь которой протекала до того времени в глубоко мирной обстановке. Такой дневной налёт мы, впрочем, наблюдали только раз, ночные же происходили часто и отзывались у нас долгим непрерывным гулом, звенели слегка стёкла и, казалось, колебалась под ногами земля.

В конце октября установилась ясная, тёплая погода, и через открытые окна одноэтажных лабораторий отдела, где происходила сортировка семян, слышались голоса работавших там сотрудниц. Заглянув однажды, среди рабочего дня,

в нашу жилую комнату, что находилась в другом павильоне поблизости, мы застали жену и бабушку в волнении по поводу исчезновения нашего воробья, который умудрился проскользнуть незаметно наружу, привлечённый почти весенней погодой. Не успели мы выйти на поиски беглеца, как прибежала к нам сотрудница семенной лаборатории:

— Не ваш ли это воробей залетел к нам в окно? . . — кричала она, — он напал на старую фрау Гольц! . . Залез к ней в волоса и щиплет больно ее ухо! . .

— Конечно, это наш! . . — воскликнули мы и поспешили вслед за немкой. За длинным столом работало большое число сотрудниц. За столиком отдельно сидела седая старуха, на плече у которой, под волосами, высматривал наш воробей. Видимо, он принял её за нашу бабушку и сердился, что она перестала его понимать.

Жена подошла и протянула руку. Но он в тот же миг стал с новым ожесточением терзать ухо немки.

— Нет ли у кого кусочка булки? . . — спросила жена, и со всех сторон протянулись руки с булкой. Жена взяла кусочек, покрошила его у себя на ладони и протянула руку, ласково повторяя: — Манюня! . . Манюня! . . — Воробей слетел к ней на руку и начал клевать. Жена осторожно прикрыла его другой рукой, при общем восторге немок.

Услышав оживлённые голоса, вошёл доктор Шварц, заведующий лабораторией. Он очень оживился, при виде свободно сидящего на руке воробья, и стал просить, чтобы жена подарила ему птичку для детей, трёх его мальчиков. Но жена отказала ему, из опасения, что дети будут мучить птицу, мотивируя отказ тем, что воробей принадлежит не ей, а бабушке.

Первые три месяца в Мюнхенберге, зимой, было ещё, сравнительно, спокойно, и мы с некоторым любопытством присматривались к новым для нас условиям жизни. Обедать мы ходили в общую столовую, а бабушке приносили еду домой. В огромном зале обедало не более сорока человек, среди них — голландцы и группа поляков, всё — вспомогательные, как и мы сами, временные работники, не имевшие

своего домашнего хозяйства. Подавался ежедневно картофель в шелухе, хлеб, макароны, овощи, пудинги, — всё довольно значительными порциями. Позже, после Рождества, мы перестали посещать столовую и три раза в день ходили получать еду из кухни в нижнем этаже, под обеденным залом.

Однажды в ноябре мы получили, я с женой, приглашение посетить профессора в его домашней обстановке, в особняке, стоявшем среди тощей растительности парка. Он познакомил нас с женой, темноволосой, средних лет, довольно красивой женщиной. Сначала они с гордостью показывали свою кухню с бесчисленными, самого различного рода, кухонными принадлежностями и белыми шкафами вдоль стен. Профессор повёл нас затем в гостиную, обставленную прекрасной мебелью розового дерева и, усадив нас, обратился к жене с изысканной любезностью:

— Я прочёл вашу сказку, Золотой Ключик, — сказал он, — в переводе фрейлейн Эрны, и эта сказка мне чрезвычайно понравилась. Я сам писал когда то для детей, но затем оставил это. — Жена его также очень хвалила эту сказку, и в их любезных словах слышались искрение, тёплые ноты.

Затем профессор обратил наше внимание на превосходное пианино и попросил жену сыграть что-нибудь. Но она принуждена была отказаться, поскольку уже несколько лет не притрагивалась к клавишам и всё позабыла. После этого профессор нашёл своевременным обратиться ко мне и, указывая на отложенный в стороне старый парусиновый, лимонного цвета пиджак, предложил мне его в подарок. Неприятное впечатление от неуместности этого, видимо, отразилось на моём лице, да ещё я, желая выразить мысль, что мне неловко брать этот подарок, сказал — « пайнлих » вместо « унгемикт ». — Пайнлих ? .. — с удивлением и даже явным раздражением, спросил он. — Нет, я только очень благодарен вам, герр профессор, — ответил я, и на этом закончился неприятный визит, после которого отношения наши только ухудшились, хотя приглашал он нас, очевидно, с

добрыми намерениями. А тут ещё угнетала невозможность быть ему полезными, так как он решительно никакой работы от нас не требовал.

Да, впрочем, и основные сотрудники Института едва ли были заняты настоящей работой. Так один из них, цитолог, по целым дням, часами, с большой скоростью и непонятным увлечением разъезжал на велосипеде вдоль главной улицы посёлка, между своей лабораторией и главным зданием, — около полукилометра. Встретив нас однажды, он пригласил нас к себе, где сидела его ассистентка, никакой работой не занятая. Блестящий порядок в лаборатории нас удивил. И цитолог даже решился нарушить порядок — взял с полки один из изящнейших ящичков с препаратами и затруднил ассистентку, предложив ей продемонстрировать нам один препарат под микроскопом, после чего мы, поблагодарив его, скромно удалились.

Лаборатория эта стояла в самом конце улицы, а дальше, в долинке, был расположен большой старый барак, где помещались семьи рабочих из ди-пи, среди них две женщины с детьми. И вот профессор, заглянув однажды к нам поздней осенью, предложил жене заниматься с этими детьми по русскому языку, на что она охотно согласилась. Занятий было немного, и жена была довольна тем, что имела возможность почитать свои сказки русским детям.

Еще дальше, среди большого пустыря, стоял одиноко кирпичный домик, из одной комнаты всего, и ряд тонких столбиков поддерживал провод, соединяющий домик с баракком. Там обитала семья ди-пи Аристова, с женой и девочкой, восьми лет. Ему, агроному по образованию, была поручена вполне определённая работа по уходу за растениями в оранжереях. В свободное время он занимался с дочуркой. Он хорошо владел немецким и, общаясь, видимо, с местным населением, нередко сообщал нам весьма неприятные и волнующие сведения, новости и прогнозы, которые почти всегда имели основание. Так, он много раз повторял, что немцы будут держать нас на месте, в институте, до самого последнего момента, когда до боёв на самой территории

института останётся не более двух часов. У него был родной брат, фермер огородник в окрестностях Парижа, и он решил пробираться к брату с семьёй и поселиться там. Он часто повторял, что надо бы каждой семье, в нашем положении, иметь хоть какую-нибудь ручную тележку для необходимых вещей, чтобы не тащить на спине, и всё повторял, что немцы разрешат нам уйти на запад не раньше, чем за два часа до сражения в самом институте. Сам же он, однако, выехал за несколько дней до такого решительного момента, сопровождая, по поручению профессора, вагоны с библиотекой института. И, слушая предсказания Аристова, было от чего приходиться в отчаяние нашей семье. Ведь не бросать же здесь бабушку, а ведь она и десяти шагов не сможет сделать вслед за нами, если придётся маршировать отсюда через Берлин, уходя от преследования танков... Значит, нам, неминуемо, придётся оставаться.

Но вот неожиданно появилась у нас всё же какая-то надежда. Было получено известие от сестры жены, Веры Пакулис, что она с мужем уже эвакуировались из Латвии в Германию и остановились в Шверине. Следовательно, если бы удалось выписать их в Мюнхеберг, то мы смогли бы, в крайнем случае, оставить бабушку на их попечение. Для этого надо поселить их в Мюнхеберге, устроив ее мужа, в качестве химика, на работе в Институте, где они могли бы остаться, не рискуя особенно, как латвийские подданные и старые люди, тем более, что муж Веры, по состоянию здоровья, не смог бы принять участие в эвакуации пешком. Подобный план — устроить в такое время постороннего человека таким образом — мог бы показаться только неосуществимой фантазией, бредом. Но не для того человека, кто был близко знаком с нашим профессором, с его, скрытой под суровой внешностью, большой добротой, отзывчивостью и готовностью, по мере сил, сделать всё возможное для беженцев с востока, научных работников и других лиц, кого можно было, под тем или иным предлогом, пристроить в Институте в тяжелое время. И, в конце ноября, мы обратились с этой просьбой к профессору. И уже через несколько

дней нам было дано разрешение на переезд семьи Пакулей в Мюнхенберг, при условии, впрочем, что они поселятся вне института. Но позднее они получили и квартиру, в отношении же пользования столовой, они с первого же дня были приравнены ко всем остальным временным работникам Института.

Утром шестого декабря открылась вдруг дверь нашей комнаты, и вошел, сильно постаревший за двадцать с лишним лет, серьезный, без улыбки и молча, Карл Андреич, а за ним Вера. Они были очень голодны, и мы поспешили с кастрюлями на кухню. После обеда мы познакомили его с профессором, и он очень радушно встретил нашего химика, прекрасно выговаривавшего по-немецки и располагавшего к себе спокойным и умелым обращением. Они направились в биохимическую лабораторию доктора Шварца, который указал новому специалисту его рабочее место и начал знакомить его с программой своего отдела.

После пяти часов мы отправились с Пакулями в город, где они без труда нашли себе небольшую комнату в очень стародавнем отеле.

Мы оставили их там, несколько успокоенные сознанием, что они уже с нами и можно передохнуть немного, в ожидании приближающихся праздников Рождества, когда и сам бог войны предпочитает отдых. И тут же появились у нас новые заботы, но уже сезонные — рождественские, на этот раз совсем уже отвлекавшие от тревожных мыслей и ожиданий.

Ещё в Лаукишкене слышал профессор от доктора Гакбарта, что жена сочинила для него к Рождеству прошлого года « замечательную рождественскую сказочку ». И вот профессор, недели за две до Рождества, явился к нам в тесную нашу комнатку и, с его обычным в последнее время оттенком холодности по отношению к нашей семье, выразил в кратких словах своё настойчивое желание, чтобы за короткий остававшийся промежуток времени жена не только написала бы рождественскую пьесу, но и успела бы поставить

её к празднику на сцене, привлекая в качестве актёров лаборанток и остарбайтеров Института.

Писание пьес для детского театра не было новым делом для жены. Не прошло и трёх дней, как у неё была уже готова инсценировка прошлогодней рождественской сказки, «Первая Звёздочка», и можно было приступить уже к распределению ролей между знакомыми остоуцами, среди которых одна молодая учительница согласилась взять на себя роль Звёздочки, и — помочь другим лицам, согласившимся принять участие при разучивании ролей. Режиссёром была жена, а сестра её — костюмёром, и её исключительная энергия и распорядительность имели немалое значение при такой спешной работе и крайнем недостатке необходимых материалов.

Главная роль в пьесе, — Деда Мороза, — была поручена Аристову. Хороший — звучный и низкий голос и соответствующая роли наружность не оставляли желать лучшего выбора. Но он, согласившись сначала, вдруг заупрямился, и его невозможно было никакими уговорами привлечь к разучиванию роли и участию в репетициях. Роль Ведьмы согласилась принять на себя научная сотрудница Кулешёва, также беженка, мать одной из молодых лаборанток, а обе последние, посещавшие одно время балетную школу в Берлине, начали готовить свои выступления в качестве «Живых игрушек», достать которые из дворца Звёздочки отправился на небо Дед Мороз.

Легко себе представить, сколько труда и всякого рода хлопот и волнений пришлось пережить жене и её помощникам, особенно же при непонятном отношении к этому делу упрямецовавшего Аристова. Но он всё же, сверх всякого ожидания, появился на последней уже репетиции с готовой ролью и сразу же ошеломил всех своими, прямо-таки шалашинскими интонациями, когда восклицал «Чур!.. чур!..» — прогоняя ведьму, бросившуюся срывать украшения с ёлки. И затем он весьма эффектно сошёл, согласно пьесе, со сцены вместе со всеми живыми игрушкам и, под звуки весёлого марша, прошёл через весь зал среди пред-

полагаемой публики. За роялем сидела жена, и хорошо звучала скрипка знакомого оstarбайтера скрипача, так называемого «капитана», человека средних лет, очень жизнерадостного, старого эмигранта, промышлявшего в Польше скрипичной игрой по ресторанам, но человека трезвого и очень музыкального. Была разучена также музыка ко всем танцам живых игрушек, и очень не легко было раздобыть ноты в такой короткий срок.

Последняя репетиция происходила перед самым спектаклем, и час спустя, в восемь часов вечера, большой конференц-зал Института наполнился приглашённой публикой. Между рядами стульев поставлены были столы, на которых в изобилии были расставлены самые разнообразные рождественские печения, и сама заведующая хозяйством фрау Рейтер предлагала всем присутствующим великолепный пунш.

Спектакль продолжался около часа и смотрелся с захватывающим интересом. Сам профессор был в восторге от представления, много аплодировал и благодарил всех исполнителей. Стоя среди зала, он пожимал руку каждого из артистов, глубоко при этом склоняясь и смешно выгибая свою узкую длинную спину. Когда же очередь дошла до самого автора пьесы — жены, профессор повернулся к ней спиной и стал демонстративно, долго и крепко пожимать руку стоявшей позади жены девочки, изображавшей одну из живых игрушек. Очень трудно было уразуметь значение этого нарочитого жеста профессора, после такого успеха автора и режиссёра спектакля — жены и — при таком праздничном настроении всех окружающих — и участников спектакля и зрителей, и легко вообразить всю обиду, нанесённую им жене, и тяжёлое, гнетущее впечатление, оставшееся от его выходы у нашей семьи. И теперь, многие годы спустя, вся странность его поведения в тот праздничный для всех вечер остаётся для нас загадкой.

VIII

Зима, малоснежная, с лёгкими морозами, давала возможность бродить вокруг, а пустынные, унылые, почти без деревьев окрестности Института, с открытым видом на слегка понижающуюся к востоку, к долине Одера, равнину, остро напоминали о притаившихся там, по берегам реки, отчасти уже и на западном, нашем берегу несметных полках советов. Что было там, на этой узкой, всего около тридцати километров, отделяющей их от нас полосе? По-видимому, там стояли ещё немецкие войска и были их укрепления, — об этом свидетельствовали исходящие оттуда лучи прожекторов, особенно один, никогда не затухавший, и непрерывно, всю ночь обегавший небосклон. И только этот один сторожевой луч всё же, казалось, приносил какое-то успокоение, когда мы, в жутком ночном безмолвии окружающего, проходили по улице посёлка.

Профессор не ошибся, приняв нашего зятя Пакулиса на работу в Институт. Он легко усвоил новые для него приёмы биохимического анализа, и работа его проходила успешно, в этой единственной из лабораторий, где ещё теплилось какое-то подобие работы. Кроме него, профессор принял к себе, этой же зимой, в конце января, ещё целую группу латвийских научных работников — растениеводов из Риги, с семьями и большим багажом, всего около двадцати человек. Все они были поселены вместе, в одной большой комнате, через которую мы проходили, чтобы попасть в свою. Для них поставили десять двухэтажных кроватей, а всё остальное пространство, кроме прохода, было занято их вещами, в том числе — несколькими велосипедами, которые они развесили по стенам. Эти машины очень пригодились им после, когда настали решительные события. А пока-что, латыши эти, не теряя ни минуты, ревностно принялись

закладывать в оранжереях и теплицах новые опытные участки для своих будущих работ, в течение ближайших лет, хотя ясно было каждому, что всё это неминуемо будет уничтожено ранней весной. Было также понятно, что проявляя такую работоспособность и опыт в селекционной работе, они желали зарекомендовать себя с наилучшей стороны, в надежде на эвакуацию весной с институтом и, возможно, — на продолжение своих работ на новом месте, в Западной Германии. Но, в связи с появлением в институте этой новой группы, исчезала уже всякая тень надежды на эвакуацию весной с Институтом нашей семьи.

Между тем всё чаще и чаще стали происходить тяжёлые ночные бомбардировки Берлина, и всё упорнее ходили слухи о колоссальном накоплении советских армий в районе реки Одер, и вскоре уже выяснилось, что советы не только завладели укреплениями на восточном берегу реки, в тридцати километрах от нас, но и заняты уже спешной наводкой понтонных мостов для переправы на нашу сторону.

Теперь, когда всё уже рушилось окончательно, не было больше уже смысла сохранять лицо Института путём приглашения новых сотрудников, наоборот, оставалось только избавиться от ставших обузой ранее принятых, кроме разве некоторых, временно необходимых для предстоящей эвакуации имущества Института, как Аристов, которого в последнее время очень приблизил к себе профессор, или же тех, личные качества которых были ему особенно по душе. К числу последних относился уже знакомый нам скрипач, который играл на рождественском спектакле. В конце марта, когда тревога достигла, казалось, апогея, он стал ежедневно к нам забегать — полечить свой палец. Он был полон радужных надежд последнее время, проявляя по этому случаю особое рвение в работе. Передвигая тяжёлый ящик с почвой, он поранил палец левой руки, образовался нарыв и, приходя на перевязку, он делился с нами своими надеждами:

— Как только заживёт палец — получу разрешение выехать в Галле, оттуда проберусь в Баварию и буду у американцев...

— Затра уезжаю в Галле!.. объявил он, явившись на последнюю перевязку.

Ошеломила нас в тот же день и Марья Семёновна, сообщая своим вкрадчивым говорком:

— Сегодня профессор разрешил всем голландцам выехать на родину.

И через два дня:

— Вчера вечером уехала с дочерью Голдмаер, профессор направил их в Ванцлебен, за Магдебургом.

В тот же день профессор неожиданно зашёл к нам в комнату и стал настойчиво предлагать нам... переселиться в один из недавно законченных небольших, на одну семью барачков, уверяя нас, что в таких, хотя и диктовых, но с двойными стенками, бараках мы сможем прекрасно зимовать. Была ещё ранняя весна... Подобно какому-нибудь капитану на палубе гибнущего корабля, он с искривленным от тяжёлых душевных переживаний, синим озябшим лицом, целыми днями, во всякую погоду шагал по территории Института, глубоко заложив руки в карманы легкого серого пальто и зябко втягивая в поднятый воротник длинную, тощую шею.

Глубоко потрясенные новостями об отъезде скрипача, голландцев, Голдмаер... мы, в отчаянии, решились на последний шаг, почти безнадежный, — обратиться прямо к профессору с просьбой разрешить и нашей семье выехать на запад, пока ещё ходят поезда. Мы с трудом уговорили Пакулиса быть нашим посредником и переводчиком в переговорах с профессором. И вот мы трое, с ним во главе, вступили с глубоким волнением в большой, парадно обставленный кабинет и были весьма вежливо усажены профессором на мягких, удобных креслах.

На вопрос профессора, — какова, собственно, цель нашего визита, — наш посредник заявил:

— Господин профессор, они вот, мои родственники, хотели бы просить вас о включении их в число лиц, которые получают разрешение на самостоятельный выезд на запад...

но... собственно говоря, — куда же бежать? .. куда бежать, говоря я им...

— Да, куда же бежать? .. — повторил за ним профессор и, привстав с места, дал нам понять, что аудиенция закончена.

— Неужели же нельзя было принять нашу сторону? .. — спросили мы Пакулиса по дороге домой:

— Я считаю, ответил он, что бежать нам некуда и мы не в силах это сделать. Пусть будет так, как будет.

Он был прав, конечно, со своей точки зрения, как старый и больной сердцем человек. Да ему и жене его, латвийским подданным, нечего было особенно опасаться. Возвратились мы в свою комнату, и Пакулисы стали пристраивать себе постель на обеденном столе, вокруг которого стояли наши кровати. Мы уже несколько дней упрашивали их переселиться к нам, но они сделали это только сегодня утром, чудом уцелев после ужасающей ночной бомбардировки городка Мюнхенберг.

В средних числах апреля, невзирая на очевидную неминуемость внезапного удара советских сил по нашему Институту, этой последней преграде на пути к Берлину, профессор распорядился начать весенние полевые работы на полевых участках. Нам же — мне с сыном — он велел перейти на работу в отдельный павильон в конце улицы, где мы должны были сидеть вместе в одной комнате за столами, на которых ничего уже не было. Вскоре после этого, профессор, при встрече с нами на улице, неожиданно предложил нам поработать в библиотеке русских научных изданий, находящейся среди открытого поля, далеко за пределами усадьбы. Там в большом открытом, без передней стены, сарае мы увидели груды связок книг и журналов, большей частью по сельскому хозяйству, сваленных прямо на полу, без всякого порядка. Видимо, профессор просто хотел, чтобы мы не слонялись без дела по усадьбе. Мы нашли там два больших английских словаря и, проработав так до обеда, возвратились домой. После обеда стало известно, что всем предложено сносить более тяжёлый багаж в один из павильонов

в конце улицы и там оставлять в коридоре. Мы отнесли туда два сундука с книгами и свой телескоп. Более легкие тюки и чемоданы предложили выставить среди улицы, куда вскоре прибыли простые телеги, на которых уже было навалено много добротных чемоданов немецких сотрудников Института. Все эти вещи направлялись в Ванцлебен, поблизости от Магдебурга. Освободившись таким способом (навсегда) от всех наших наиболее громоздких вещей, мы оставили себе только по подушке, одеялу, бельё, пальто и немного посуды, семейные фотографии и рукописи. Но и то составляло вместе такую тяжесть, что нести всё это не было никакой возможности, и почти всё, кроме фотографий и рукописей, пришлось оставить позже. Все же вещи, отправленные в Ванцлебен, как наши, так и немцев, были сложены там в большом гараже и были позже, в мае 1945 года, разграблены и уничтожены.

Двумя днями позже, профессор послал меня с сыном на работу по перекрёстному опылению растений капусты в оранжереях, расположенных среди открытого поля, предназначенного для высадки там селекционных образцов капусты, — главного предмета учёных трудов профессора за последние годы. В теплицах было очень много горшков с цветущими уже растениями, которые и подвергались там искусственному скрещиванию с тем, чтобы к осени можно было получить гибридные семена для работы в будущем году.

Обе, уже знакомые нам по Восточной Пруссии, лаборантки, Марья Семёновна и Раиса Ивановна, всю эту зиму проработали в теплицах и теперь, будучи, по каким-то причинам, не в пример нам, в превосходном, приподнятом настроении, встретили нас оживлёнными возгласами и, мелко сказав, что мы могли бы сделать сегодня, вывели нас наружу в поле и, указывая вдаль по направлению на восток, к Одеру, и мечтательно улыбаясь, разом воскликнули:

— Там Кюстрин!.. Пойдёмте туда гулять, в ту сторону!..

— Ах, Кюстрин!.. Кюстрин!.. — игриво протянула Марья Семёновна и проворно зашагала по хорошо протоптанной тропинке в направлении немецкой крепости на берегу Одера, уже три недели как занятой советами. Мы с изумлением взглянули на лаборанток и, не будучи уже в силах собраться с духом и начать работу, поплелись домой.

На следующий день утром, советские аэропланы впервые появились над Институтом, пролетая над капустным полем. И тут профессор, как бы тешась, напоследок, уходящей уже из его рук властью, приказал всем оставшимся работникам Института рассаживать сеянцы капусты среди этого открытого поля, на виду у низко пролетающих, не встречающих никакого сопротивления вооружённых лётчиков. Так продолжалось часа два, после чего профессор приказал всем рыть бункеры поблизости от своих квартир для укрытия при воздушной бомбардировке.

Назавтра утром, профессор вызвал меня с сыном и с какой-то, необычной для него даже в последнее время, наглостью и пренебрежением, приказал нам немедленно отправиться в город Мюнхеберг и принять там участие в рытье окопов.

Как ни жутко было отделяться в такое время от семьи, даже на расстояние в два-три километра, мы всё же чуть легче вздохнули, выйдя через городок к довольно густому сосновому лесу. Было чудесное, тихое весеннее утро, и только чарующая своей свежестью и лаской песенка одинокого черного дрозда нарушала окружающую тишину. И когда мы, укрытые густым лесом, рыли небольшой окоп в мягкой и пахучей лесной почве, эта мелодичная, полная нежной грусти песенка почти возвратила нам, на один миг, давно утраченную душевную теплоту и луч робкой надежды.

Два дня мы проработали добросовестно в этом лесу, а на третий день, рано утром, профессор погнал меня с сыном, с какой-то новой, язвительной усмешкой, на рытьё противотанковых окопов под Мюнхебергом, среди открытого поля на восток от города, где то и дело низко пролетали советские разведчики.

— Но ведь это непосильная работа для нас, — возразил я ему заранее приготовленной фразой.

— Ах, вы, лентяи!.. Отправляйтесь туда немедленно!.. — с подчеркнuto презрительной миной выкрикнул он в ответ.

Большая толпа горожан уже копала там глубокие и широкие канавы, и пролетавшие советские лётчики могли обстрелять из пулеметов это скопление людей. Да и самое назначение этой работы уже говорило о многом.

Тем же вечером профессор появился в нашей комнате и, крайне на этот раз настойчиво, предложил нашей семье переселиться, не теряя времени, немедленно, в один из новых барачков на противоположной окраине институтского посёлка. Так как в нашей комнате была немыслимая теснота, то Пакули решили перебраться туда, и к ним присоединилась и бабушка. Мы же, трое, решили пока оставаться.

Однако, большую часть времени пришлось проводить на новом месте, помогая бабушке, а во время воздушных тревог, — просиживая в уже заранее вырытых там в мокрой, глинистой почве канавках.

20-го апреля, перед вечером, профессор позвал меня с сыном к себе в особняк, помочь ему выносить еще оставшиеся не вывезенными его некоторые сундуки, чемоданы и кухонные принадлежности. Большая рессорная телега стояла у дома, и он сам, при нашей помощи, выносил тяжелые сундуки. Не было ни лошади, ни кучера. А на утро всезнающая Марья Семеновна сообщила, что профессор уехал и будет работать в новом имении Института, в районе Ганновера. И тут же, с особым оживлением и торжествующим тоном:

— Вот увидите, какая будет эта ночь!.. Вот будет ночь!.. — повторяла она. Видимо, она не напрасно прогуливалась по дорожке на восток.

Было 21-ое апреля 1945 года. Чудовищный, неслыханный в истории войн, по количеству артиллерии, танков и сапёрных войск, ударный кулак на сравнительно узком

участке фронта был сосредоточен и притаился в тридцати километрах к востоку от нас.

Ещё за три дня до отъезда профессора началась подготовка к эвакуации библиотеки Института в новое имение под Ганивером. Мы узнали об этом с запозданием. Первым впечатлением при входе в библиотеку были рядком расположенные под стеной в коридоре противотанковые немецкие «фаусты». Мы застали уже все книги лежащими на полу, в небольших, аккуратно перевязанных бечевками пачках. И мы увидели там Аристова. Ему, как оказывалось, была поручена профессором ответственная роль по упаковке, погрузке в вагоны и — более того — ему было приказано сопровождать библиотеку до самого Ганивера, и с ним могла ехать и его семья. Слабый здоровьем хилый библиотечарь, который получил, наконец, полное освобождение от воинской повинности, выехал уже тремя днями раньше. Аристову помогали таскать книги несколько рабочих из остоуцев, которые, под его присмотром, грузили книги в два товарных вагона, поданных почти к дверям библиотеки по специальной институтской железнодорожной ветке.

Так преуспевал и блаженствовал Аристов, предвкушая сегодня ж вечером свой отъезд, мы же должны были довольствоваться малым: мы пришли туда, к выходу из библиотеки, чтобы только воспользоваться находящимся под библиотекой, в полуподвале, помещением для душа, желая, в предчувствии грядущих крайних лишений, хотя б воспользоваться возможностью помыться. И когда, полчаса спустя, мы выходили из подвала, уже целая группа людей таскала, под командой Аристова, книги в вагоны. И он, завидев нас с полотенцами на плечах у выхода из бани, остановился на минуту и, поглядывая на нас с ухмылкой, поздравил нас своим чётким басом Деда Мороза:

— С лёгким паром!..

Это были его прощальные слова. Больше мы его не встречали, а позже узнали, что он благополучно доставил библиотеку в Ганивер. Его же неоднократные предсказания, что нам, не получившим разрешения даже своими

силами выехать во время, будет позволено двинуться на запад не раньше, как за два часа до прихода сюда советских войск, — его предсказания сбылись буквально.

Едва успели отъехать вагоны с библиотекой, как вся усадьба Института, каждый угол, где можно было укрыться под деревьями, — всё было занято множеством старых потрёпанных грузовиков, передвигающихся с помощью газов, выделяемых при сухой перегонке дерева, в наскоро пристроенных к кузову печах, которые, не переставая, дымили.

Ночь была совершенно тёмная, с дождём и ветром, и мы трое, выйдя из комнаты, в надежде увидеть кого либо, узнать что-нибудь, тихо брели среди этого хаоса, ничего не видя, не понимая и ни на что не надеясь.

Жена изредка записывала свои впечатления, и вот её строки об этих последних днях в Мюнхенберге:

«Вера перевязывает ему (скрипачу) старательно палец. В субботу он уезжает в Берлин, а оттуда — дальше, в Баварию. Что-то будет с нами? Куда можно двинуться? Карл Андреич только и делает, что посмеивается над нашей затеей ехать, а бедная мамочка молчит и испуганно смотрит. Со всех сторон слышна канонада. Взят ли Кюстрин? Никто ничего не знает. Одни говорят — взят, другие — не взят. Никто ничего не знает, а канонада слышится день и ночь. Бомбы разрываются так близко, и окна в нашей убогой комнатке трясутся с такой силой, как трясется Берлин при налёте американцев. Ночью так страшно! Небо горит от пожаров. Латыши не спят и стучат дверью. Маленький у них плачет, как бы чувствует, что не всё ладно. Вертится на кровати Максимка, Митя скребёт на всю комнату голову, а мама не спит, притаившись на кровати. И я не сплю. Лежу с открытыми глазами и думаю. Не сегодня — завтра рухнет всё. Это так ясно. Катастрофа надвигается с такой быстротой, что остановить её уже никто не может. Она надвигается на нас, на нашу разбитую, несчастную семью. Я энаю, я так глубоко уверена, что мы доживаем эти дни, последние дни нашей совместной жизни. Сегодня прошёл

уже целый месяц, как должна была уехать Голдмаер, первая в институте из русских. Какая страшная была ночь ! Ветер сотрясал всё вокруг. Где то совсем блзко гудела канонада, говорили, что танки прорвались в Зелов. Профессор сказал Голдмаер, что эта ночь последняя, если она хочет уехать . . . А мы ? . . Господи, как страшно за Максимку ! Я опираюсь на его худенькую руку и мы двигаемся среди полной темноты к главному зданию. Необходимо узнать, уехала ли Голдмаер и вообще, что нового. Ветер сбивает нас с ног. Мы натываемся на машины и ощупью подвигаемся вперёд. Абсолютная темнота. Вдруг ноги наши попадают в колоссальную лужу. Во всяком случае она кажется нам колоссальной. Наконец нам удалось из нее выбраться. Ночь настолько тёмная, что нас не замечает даже немецкий патруль, и мы свободно проходим мимо. Опять новое препятствие, в виде лошадей. Мы тычемся в их бока и не можем понять, куда нам идти. А ветер гудит с такой силой, что заглушает даже оружейную стрельбу. Ничего нельзя понять среди этой бури и дикого ветра, тьмы и льющихся потоков воды и где-то среди тьмы рвущихся снарядов. Но вот дверь. Мы наткнулись на неё неожиданно, так же как и на бока лошадей. Она открылась перед нами, эта волшебная дверь, и наши глаза на минуту ослепляются фонариком. Это Отто. Он узнал Максимку и смеётся. Ему всегда весело, даже в такой страшный час. Мы поднимаемся на верхний этаж и, не постучав, входим в комнату. Как светло и тепло здесь ! Раскаленная печь потрескивает на всю комнату. Как спокойно и уютно здесь ! Сестры Дитмар что-то чинят. Маленькая Кира что-то варит . . . »

Вечером 21-го апреля, после зловещих предсказаний Марьи Семёновны об ужасах предстоящей ночи, мы, перед заходом солнца, зашли к Пакулисам в новый барак, но не решились возвращаться в нашу комнату, где были поблизости большие строения, и направились к соседнему новому барaku, еще необитаемому, но уже оборудованному в течение последних дней, с целью совершенно непонятной в такой момент, большими кроватями, с чистыми, превосходно

набитыми соломой матрацами. Мы прилегли, как стояли, все трое поперёк одной кровати, но стало темнеть, и жутко нам показалось оставаться совершенно одним в этом большом, заметном бараке, и мы вышли, чтобы укрыться где нибудь в парке под деревьями. Пройдя одну длинную дорожку, мы попали на небольшую круглую полянку, среди кустов и малорослых сосен. Какие-то низенькие, фута в три навесы, прикрытые сверху и с задней стороны толстым слоем земли и дёрна, в виде двух полукругов, образовали кольцо вокруг полянки, и под навесами, при слабом свете сумерек, виднелись какие то полочки, на которых сын обнаружил маленькие пакетики. Это был склад семян, приспособленный к условиям хранения, близким к природным. Такое убежище в эту ночь показалось нам очень подходящим и мы забрались вторым между полочками одного из навесов. И только мы там молча притаились, как послышался из противоположного сектора говор, забравшихся туда и шепчущихся взволнованно, мужчины и женщины. Очевидно, эта немецкая пара также нашла это место наиболее подходящим укрытием и, судя по тону их голосов, была недовольна, что и мы также обнаружили это убежище.

Стемнело совсем и послышался шум приближающихся аэропланов. Вся местность вдруг ярко осветилась громадным количеством, как бы висящих в воздухе, поразительно ярких цветных канделябров, представлявших восхитительную картину. Пять или шесть тяжёлых взрывов в районе центральных зданий последовали один за другим. Наступила темнота. Затем — новый налёт, яркий свет, и ещё более мощная бомбардировка. После ещё одного, третьего налёта и одного особенно сильного взрыва, вслыхнувшего всё вокруг, наступила тишина. Пожаров не было, но мы были уверены, что мало что осталось от институтских построек и склада, где была наша старая комната. И как только забрезжил рассвет, мы выбрались из своего тихого убежища и, пройдя мимо опустевшего профессорского особняка, неподалеку от которого мы, как оказалось, нашли себе ночной приют, увидели, что решительно все большие институтские

здания стоят нерушимо. И, как оказалось позже, пострадало только одно небольшое здание — квартира заведующего хозяйством, военного человека, и его помощниц. Никто из них не был ранен, однако, кроме военного, который был контужен в области крестца, но остался на ногах. От него, как вскоре выяснилось, зависела дальнейшая судьба всех оставшихся сотрудников Института и рабочих.

Мы поспешили к своему помещению и, войдя в проходную комнату латышей, были глубоко поражены. У них всё уже было готово к отбытию. Все тюки были тщательно увязаны, а сами они стояли вокруг пустых кроватей в дорожных пальто, с рюкзаками на плечах и с руками на рулях велосипедов, на которых были привязаны более тяжёлые вещи. Дети и жены толпились с мелкими вещами в руках. Все стояли неподвижно, глядя в одну точку, точно в ожидании немедленного сигнала к отправлению.

Мы бросились в свою комнату, где ещё ничто из вещей не было упаковано, но не успели ещё и начать, как грянул внезапно, в мутном свете окна на восток, ошеломляющий, сотрясающий землю, ураганный огонь десятков тысяч орудий исторической « сталинской » подготовки на реке Одер, в пять часов утра 22-го апреля 1945 года.

И мы бросились обратно, через всю усадьбу, за бабушкой. И уже пули от близких авангардных боёв жужжали над головами, и мы увидели на перекрёстке дорожек у профессорского особняка немецких солдат, устанавливающих пулемёты в небольших угловых окопах, вырытых уже после того, как мы проходили там на рассвете. У барака мы встретили уже чету Пакулис вместе с бабушкой, которую мы повели, под ужасающий, разрывающий воздух свист пуль, мимо пулемётных гнезд, где сидели наготове военные, и мы достигли, наконец, своей старой комнаты. Латышей уже не было.

« А вдруг все уже уехали ! . . » — явилась ужасающая мысль, и мы кинулись увязывать вещи, втиснули в чемоданчик и старую шляпную коробку всё необходимое, взвалили на плечи узлы с постелями и повели бабушку к главному

зданию, где встретили бегущих лаборанток Марию и Раису. Обе находились в невообразимом волнении и растерянности, не зная, как поступить — ехать или оставаться в институте. Где были их явно просоватские настроения?.. Марья Семёновна, рыдая, бегала взад и вперёд, а Раиса стояла молча, со слезами на глазах. Раздался вдруг треск над головой, и на бабушку, усаженную под стеной, посыпались осколки стекла, разбитого шрапнелью. В этот момент, подбежали к нам сёстры Дитмар, Эрна и Эмилия, как-то странно жестикулируя.

— Видите!.. — вскричала Эрна, — никак не могу уговорить сестру, чтобы она уезжала!.. ничего не могу с ней поделаться!.. видите, что с ней такое?.. — И мы увидели перекошенное от ужаса лицо, обезумевшие глаза её сестры и застывший, полураскрытый рот, из которого выходили какие-то нечленораздельные звуки, напоминающие вой запуганной и забитой собаки. И как мы ни уверяли её, что все мы в одном положении, и нечего уж так бояться жужжания пуль, которые не убивают пока никого, — её невысказанно было уговорить, обезумевшую, от ужаса потерявшую разум.

С болью сердечной расстались мы с бедной Эрной, нашим другом, которая жертвовала собою ради сестры, когда увидели, что через двор проехал и остановился у ворот большой новый трактор с огромными колёсами, тянущий за собою две широкие рессорные прицепки, в виде площадок с высокими бортами и рядами стульев, на которых, в переднем прицепе, сидели уже заведующая хозяйством института фрау Рейтер и её помощницы, а позади них была наложена гряда ящиков и мешков с провизией и кухонными принадлежностями. На второй площадке уже сидели все женщины, дети и девушки остошки и научная сотрудница Кулешова с дочерью Кирой. Латышей на прицепах не было. Они выехали часом раньше на велосипедах, сопровождая предоставленную им конную площадку, на которой были сложены тяжёлые вещи, и там же ехала семья старшего из латышей,

пожилого « директора », который не имел велосипеда, и женщины с детьми.

Мы едва успели взвалить на задний прицеп свои вещи и посадить бабушку, как подбежали к нам прощаться лаборантки, всё ещё рыдающие, и тут же подкатил на мотоцикле заведующий хозяйством, раненый утром, уже в военной форме. Он отдал приказ немедленно отъезжать, а сам умчался в сторону Мюнхеберга.

Под непрерывный ужасающий грохот всё возрастающей канонады и режущее воздух взвизгиванье пуль, мы, с несказанным чувством облегчения, выехали через широкие ворота на шоссе, ведущее к Берлину. Наша мюнхебергская эпопея закончилась.

IX

Мы ехали уже с полчаса, но жужжание пуль над головами всё ещё не ослабевало и вызывало здесь, на шоссе, особенно жуткие опасения ранений и катастрофы. Грохот канонады даже возрос, и мы стали свидетелями необыкновенного явления. Высоко в чистом голубом небе бежали за нами на запад какие-то волны, порождаемые непрерываемыми и чудовищно мощными сотрясениями воздуха. Вереницы немецких беженцев двигались пешком по обе стороны шоссе, некоторые с детскими колясочками, нагруженными пожитками. И было как то странно, что в данный момент, конечно, эти немцы в сравнении с нами находятся в худшем положении. Мы двигались так более часа и уже настолько удалились от фронта, что даже канонада едва уже слышалась. Начали уже появляться здания пригородов восточного Берлина, нетронутые бомбардировкой. Но позже, приближаясь к центру, мы ехали уже среди сплошных развалин. Появились вскоре за этим широким, покрытым руинами, пространством, знакомые по своим очертаниям Бранденбургские ворота; трактор повёз нас мимо Тиргартена, всё дальше, к югозападному Берлину, где улицы были также совершенно безлюдны, но развалин уже не было; а в душу снова и снова прокрадывалась тревога: — «Куда и зачем нас везут?.. Что будет с нами в ближайшие часы?..» А трактор всё похлопывал так бодро и тащил нас уже среди опятных улиц югозападного пригорода. Мы выехали на широкое шоссе, украшенное большими деревьями, поравнялись с каким-то весьма внушительным зданием напоминающим театр и, повернув в широко открытые ворота, остановились у входа, где увидели наших латышей, прибывших немного раньше нас и разгружавших свою телегу. Мы прибыли, как оказалось, в Берлин-Далем, юго-западную окраину, побли-

зости от которой был расположен всемирноизвестный ботанический сад и другие центральные учреждения Кайзер-Вильгельм Института, а здание, у которого мы остановились, было построено для международных ботанических съездов. Ничего не было странного в том, что именно здесь остановился, проездом, этот ничтожный обоз, с частью персонала бывшего Эрвин-Баур-Института, также состоявшего в системе учреждений Кайзер-Вильгельм Института, и показалось вероятным, что и мы поедем с этим обозом дальше. Нам предложили войти, захватив все свои вещи. Мы попали сперва в коридор, а затем — на второй этаж, где в большом, двухъярусном зале стояло много кроватей с превосходными матрацами, — всё это предназначавшееся, в былые времена, для международных ботанических конференций. Все прибывшие иностранцы расположились тотчас же на кроватях, не веря своим глазам, что такое роскошное помещение может быть предоставлено, хотя бы на одну ночь, беженцам с востока. Мы вышли в коридоры и попали, случайно, в большой конференц-зал. В это время раздались гудки сирен, и всех повели в подвальное помещение. Когда всё успокоилось, нам было предложено получить в кухне судки, уже наполненные очень хорошо приготовленными яствами. Наш Карл Андреич, как и все остальные латыши, был очень доволен таким оборотом дел, но едва ли и они могли не таить в душе самые тяжёлые предчувствия.

После обеда было ещё несколько воздушных тревог, и нас водили уже в подвал какого-то соседнего большого здания, где сидело несколько дряхлых стариков в военной форме, чрезвычайно мрачного вида. Настал вечер, стемнело, и все улеглись. Мы же ещё бродили растерянно по коридорам и, включив по ошибке свет в большом зале, заметили там отсутствие штор на огромных окнах. Чуть позже, я забеспокоился продолжительным отсутствием жены, и в этот момент слышались из коридоров её испуганные возгласы. Оказывается, она выключила, из предосторожности, не во время свет, заблудилась и попала в стеной шкаф, из которого не могла найти выхода.

Рано утром всем нам, иностранцам, дали позавтракать, после чего объявили, что мы сейчас поедем. У дверей стоял уже знакомый нам большой трактор, но только с одним прицепом, и было очевидно, что никто из немцев не готовится ехать.

— А вы, фрау Рейтер, также поедете с нами? .. — спросили латыши стоявшую у прицепа немку, заведующую столовой.

— О, нет! .. — возразила она, — мы едем в наше имение.

— А куда же поедем мы? ..

— Вы поедете в беженский лагерь Целлендорф, здесь поблизости...

Делать было нечего. Трактор снова запыхтел и остановился вскоре перед открытыми воротами убогого грязного лагеря. Налево от ворот виднелась насыпь лагерного бункера, за ней — два барака — хозяйственная часть и столовая. По другую сторону двора — старые, покосившиеся жилые бараки. Типичные советские осто́вцы, с особенно захудалым и безнадежным видом, бродили по двору и подозрительно на нас посматривали. Ничего не оставалось, как стащить с прицепа вещи. Шофер грозно прикрикнул на латышей, которые пытались о чём-то его спросить, снова застучал своей машиной и быстро удалился.

« Вот и докатились! .. » — была одна только мысль. Нас выбросили как ненужную уже мебель, да еще намеренно в таком именно месте, куда непременно устремятся в первую очередь советчики. И зачем они, прекрасно понимая, что бегством от советчиков мы спасаем свою жизнь, посадили нас именно в эту мышеловку? Почему бы им не помочь нам в бегстве на запад, хотя бы высадив нас не в лагере, а в полукилометре от него, на еще действовавшей электрической дороге на Потсдам или, хотя бы посоветовать нам поспешить туда, к этой единственной дороге из этой части Берлина? .. А от Потсдама проходило на запад еще безопасное, эти два последние дня, шоссе.

« Вот и пришел нам конец ... » — мелькала мысль, и

поплелись мы с вещами, таща под руки бабушку, к барaku, где была столовая. Помещение просторное и, видимо, оставленное без применения. Много длинных столов и ни одного стула. В конце зала, в стене, было открыто оконце в кухню, и туда сразу же направил наш Карл Андреич свои слабые, неуверенные шаги и завёл там с поваром тихую беседу. Возвратился он очень довольный: нам предлагают гороховый суп и пока для всех желающих. Но хорошего в этом было мало, поскольку латыши, — большинство нашей группы, — сразу же почувствовали себя как-то устроенными и решили, видимо, оставаться в этом лагере возможно дольше. Но для нашей семьи это было невысказано, дорог был каждый час, каждая минута. Отделиться же от них было рискованно. Отчаяние овладело нами.

Ночевать расположились все на столах, просто как стояли, в пальто и шляпах. Но только прилегли — ещё перед вечером — началась воздушная тревога. И потащились мы, с вещами и ведя под руку бабушку, к бункеру, куда нужно было лезть по-одиночке в узкую дверь. Тревоги следовали одна за другой, и мы, окончательно измучившись, рашили не таскаться больше в бункер. На другой день тревог уже не было. Было очень голодно, и сын повёл нас в соседние западные кварталы Берлина. Там было всё в относительном порядке, и можно было даже раздобыть в лавках немного еды. На углу стояли на тротуаре четыре соединённые зенитки. Тревоги не было, но подошли два молодых немчика — солдаты и начали палить из всех орудий, что продолжалось минуты две. Как только мы возвратились в лагерь, прибежали вдруг откуда-то мать и дочь Кулешовы. Они бегали на станцию электрической железной дороги на Потсдам, где узнали, что последний поезд туда идёт через час. Встрепенулись все как один, даже наш, совсем уже ослабевший, Карл Андреич. Все бросились собирать вещи и барак опустел. Осталась только наша семья.

Что было нам делать с бабушкой? . . Мы тянули её под руки, бросая вещи. Кулешовы убежали, а мы не знали дороги к станции. Так прошло минут десять. Вот видим,

стоят у ворот простые носилки для кирпичей. Посадили на них бабушку, положили часть вещей и пытаемся нести... Немыслимо, даже если бы и не было спеха. Встречаем какого-то немца. Плохо одетый, бледный — предлагает нам помощь. Взял носилки с одного конца, мы с сыном — с другого, положили и вещи. Немец знает дорогу, всё устроилось. Он не брал платы, но возражать было некогда, — он уже усаживал нас в поезд, который готовился в свой последний рейс.

При первой же остановке поезда сестра жены выбросила на платформу часть вещей. Мы тоже выбросили один свой свёрток. Но поезд тут же двинулся дальше, и Пакулисы, оставшиеся без наиболее необходимых вещей, решили, что они выйдут с бабушкой на ближайшей остановке, поскольку двигаться они всё равно не смогут. Они, вероятно, надеялись возвратиться в лагерь Целлендорф. Тяжело было нам расставаться с бабушкой, возможно — навсегда. Все трое сошли на ближайшей станции. Два года спустя, мы разыскали их, целых и невредимых, в одном из лагерей для ди-пи английской зоны Западной Германии.

В поезде с нами ехали латышские семейства и Кулешова с дочерью. Минут через сорок мы были уже в Потсдаме. Солнце склонялось к западу, озаряя страшную картину разрушения всех станционных зданий, от которых не осталось и фундаментов. Оказалась нетронутой только одна платформа, на которой мы и высадились. Над ней уцелела даже крыша и у одной из колонн была устроена небольшая будка из фанеры для дежурного по станции. Он был ещё там и заявил нашей группе — единственными прибывшим с этим поездом пассажирам, что он покидает станцию, которая будет завтра занята советскими частями. Латыши обступили его и, две-три минуты спустя, вся группа, вместе с дежурным и Кулешовыми, не сказав нам ни слова, быстро двинулась куда-то. Мы даже не поняли, что происходит, и решили, что нас покинули, и мы погибнем здесь неминуемо без проводника в город, в темноте, уже наступившей. Растерянно смотрели мы в ту сторону, куда удалилась

вся группа, как вдруг позади отозвалась знакомая латышка, стоявшая с дочерью по другую сторону будки. Муж её ушёл в город, оставив их с вещами, и должен был прийти за ними утром с военным, который должен провести их через минированный мост от вокзала к городу. Семья эта и стала, в течение некоторого времени, нашими попутчиками. Муж, которого называли «директором», — пожилой человек слабого здоровья, небольшого роста, жена и пятнадцатилетняя дочь. Нам стало не так уже жутко, и мы принялись перебирать свои пожитки, чтобы выбросить всё, что только возможно, особенно же лишнюю посуду, которую расставили рядком на полочке внутри будки. Наши спутницы устроились снаружи, под окошком. Совершенно стемнело, свет блеснул, и тяжёлый, ужасающий взрыв потряс землю. Это немцы взорвали, видимо, мост со стороны Берлина. Прогремел тотчас же еще один такой же взрыв, но уже с другой стороны... «А вдруг это тот именно мост, через который мы должны проходить?..» — явилась и крепла тревожная мысль. И затем наступила полная тишина. Ни души, ни шороха вокруг. И мы, пятеро, совершенно уединённые, отрезанные уже взорванными мостами, ждём чего то среди покинутой немцами территории бывшего потсдамского вокзала... Так проходила эта ночь, подобной которой, по столь неповторимому стечению событий и месту действия, не пришлось переживать никому.

Забрезжило утро, и раздались гулкие шаги. Два немецких солдата с изумлением обнаружили нас на платформе. Латышка объяснила, в чем дело, и мы с возрастающей тревогой стали смотреть в направлении города.

Но вот показались двое. Впереди шёл военный — он всё указывал директору на какие-то знаки на сером, землястом настиле моста. Латыш сказал, что еще не поздно, но следует спешить, и мы, нагрузившись, пошли вслед за его семьей и военным, который нёс тяжёлый чемодан директора и ступал осторожно, шаг за шагом, указывая свободной рукой на маленькие дощечки, расположенные на ровной площади в шахматном порядке. Каждая из них указывала

на заложенную под ней мину. Оступившись только или уронив что-нибудь, мы могли вызвать катастрофу. Такое шествие продолжалось несколько минут. Мы проходили зигзагами между, словно притягивающими наши ноги, дощечками и, наконец, вышли на улицу города.

Тут латыш рассказал, что все они провели ночь споккойно, на противоположной вокзалу окраине города, в большом зале какого-то здания, где устроено эн-эс-фау, получили там хорошую еду и добавил, что теперь следует поспешить, поскольку скоро все беженцы будут двигаться дальше. И латыш с военным пошли так быстро, что мы, обременённые вещами, потеряли их из виду и снова пришли в волнение. Вскоре предстали перед нами, при выходе на площадь, великолепные старинные дворцы с бронзовыми, позеленевшими от времени крышами и архитектурными деталями, построенные ещё Фридрихом Вторым, в подражание версальским. Всё это, и крыши и стены, в общем как-то уцелело, но казалось помятым, точно сдвинутым с места. А рядом, — слева, — целый парк из больших деревьев был начисто скошен и опалён бомбами. Не видя и здесь, на площади, наших спутников, мы растерялись: в целом городе — ни души, спросить не у кого.

Но вот видим: справа, со стороны одного из дворцов, вышел откуда то мальчик лет пятнадцати, с лёгкой темно-цветной двуколкой в руках, черноволосый, еврейского типа мальчик. Но какой хилый и бледный!.. Казалось, он скрывался всю свою короткую жизнь в подвалах этих дворцов, а теперь оказался их единственным обитателем.

И вот он, с таким видом, точно мы уже раньше с ним условились, принимает, молча, наш багаж, который мы, также без слов, укладываем на его тележку. Мы впрягаемся в неё, а он идёт впереди, указывая дорогу, и приводит нас к большому зданию на окраине города, у самой лесной опушки, и мы, следуя за ним, входим в большой высокий зал со сценой и множеством стульев. Там сустились еще, увязывая вещи, наши спутники латыши. Кое-кто еще завтракал, и нам также выдали по хорошей порции сытного горохового

супу. Подвёл нас к небольшой уже очереди тот же еврейский мальчик, который привёл нас в этот немецкий эн-эс-фау, как в хорошо уже знакомое ему место. И, видимо, не в первый раз наливала для него немка полную миску горячего супу.

Задачей каждого было теперь освободиться от всех, не очень нужных, вещей. Так пришлось нам выбросить все словари и моё демисезонное пальто. Наш знакомый директор предлагал нам, и очень настойчиво, полубутылку водки, жалая её выбросить. Сын протестовал, но жена настояла на своём — взяла бутылку и поблагодарила за такой ценный подарок. И как же выручила нас эта водка минутами позже !..

Все путники были уже готовы к выходу и главы латышских семейств уже стояли среди зала с рюкзаками на плечах и руками на рулях тяжело нагруженных велосипедов, которые могут превосходно заменять багажные двуколки. И только единственный из них — директор не имел велосипеда. Он и жена с дочерью навалили на себя чемоданы и тюки, но было ясно, что нести и половину этого они не смогут. Мы были в таком же положении. И это, в какой то мере, снова могло выручить нас, как это было ночью на потсдамском вокзале: мы были не одни.

Все страшно торопились, поскольку стало известно о приближении советских частей. Говорили, что маршал Конёв идёт в обход Берлина с юга, и Потсдам может быть занят с часу на час. Вся наша группа поспешно вышла наружу и мы очутились на чистых тропинках прекрасного листового леса, вдоль которого, в нескольких от нас шагах, проходило шоссе. Латыши сразу же двинулись равномерным, быстрым шагом, влекомые силой инерции нагруженных велосипедов. За ними бежали члены семейств с узелками в руках. Кулешовы отставали, но вскоре, побросав почти всё, побежали вслед за латышами и скрылись за кустами. С нами оставалась только семья директора. Они едва передвигались, как и мы, под непосильной ношей. Тогда жена, с удивительной решимостью, стала брать от нас и бросать среди леса

сперва все одеяла, а затем и самое ценное — зимнее пальто сына. Но все эти жертвы были напрасны — тащить остальное не было возможности. А тут еще, пока мы возились, исчезло куда то латышское семейство... Вдруг жена заметила что-то на шоссе и вскрикнула... Видим, — наш латыш уже стоит среди дороги у какой то подводы, затем садится с семьей и вещами и быстро отъезжает. Мы бросились, в крайнем смятении, на шоссе и увидели, что еще одна подвода приближается быстрой рысью, но она занята беженками, за ней показалась третья, свободная еще, но возница проехал, не внимая нашим знакам и просьбам. Подъезжает еще одна, и сидит там парень лет двадцати, видимо из остоуцев. Нам удалось остановить его, но он наотрез отказал: — Это военный обоз, всех подвод больше сорока, впереди едет офицер...

Но тут жена мигом выхватила из мешка свою бутылку водки, как бы в ясном предвидении полученную ею от латыша... Завидев «белую головку» бутылки, парень вмиг подобрел, заявил, что зовут его Николаем, быстро погрузил наши пожитки, и мы скорой рысью покатали по гладкому шоссе.

Х

Обоз был растянут на целый километр, чтобы не стать удобной мишенью для лётчиков. После минут двадцати быстрой езды, обоз замедлил ход и остановился. В лесу справа были замечены немецкие солдаты. Офицер опросил их и махнул рукой. — Дезертиры... — заметил Николай. Проехали еще с полчаса, как вдруг обоз снова замедлил ход и стал поворачивать влево, почти под прямым углом, а впереди замечалось движение и слышались выстрелы. Это прорвались уже советские танки, Обоз остановился. Далеко впереди дымился подбитый танк, над головами жужжали пули, но мы пропускали вперёд, на узкое шоссе, военный обоз из целой вереницы орудий, на которых, кроме военных, сидели беженцы с уздами, а впереди всех прошёл большой немецкий танк, весь облепленный беженцами, а на башенке танка, обложенный чемоданами, сидел, в чёрной рясе и клобуке, священник. Когда мы двинулись, поворачивая влево, на узкое шоссе, мы вышли уже из зоны обстрела под защиту небольшого холма с правой стороны. И мы снова покатили крупной рысью, удаляясь от фронта. Так ехали мы ещё часа два и от голода и усталости стали приходить в полусонное состояние, когда обоз остановился, вдруг, на площади города Ратенау. Вокруг толпился народ и многие несли консервные банки. Происходила раздача всех городских запасов перед оставлением города немецкой армией. Мы получили несколько банок, вскрыли одну, и пообедали мясными консервами.

Когда мы только ещё подъезжали к Ратенау, все подводы были уже заняты немецкими беженцами, больше женщинами, а при выезде из города к нам посадили на воз двух немок с детьми. Явились опасения, что нас, особенно сына, могут высадить. Николай, который, видимо, получил замеча-

ние, посоветовал сыну ехать лёжа, прикрывшись сеном. Это удавалось некоторое время, но немки заметили нашу маскировку и донесли офицеру. И тот строго приказал Николаю гнать «мана» с подводы. Пришлось ему тут, бедняжке, бежать всё время рядом с подводой и только иногда удавалось ему постоять одну-две минуты на выступе оси на одной ноге. Когда мы достигли, таким образом, остановки в каком-то селе, после более чем двух часов такого пробега, сыну сделалось дурно. Жена постлала ему в сарае немножко соломы на полу, он лёг и впал в обморочное состояние, которое продолжалось несколько минут. Но вскоре он настолько оправился, что мы стали осматриваться вокруг и обратили внимание на большую, очень стародавнюю хату фермера, в усадьбе которого наш обоз остановился. Хата напоминала украинскую клуню, с низкими стенами из плетня, обмазанного глиной, и очень высокой и крутой крышей из ржаной соломы, до того уже старой, что вся она была покрыта сплошным слоем мхов. Внутри восемь высоких столбов, наподобие украинских «сох», поддерживали крышу, всю черную изнутри от многолетней копоти. В центре клуни стояла громадная кирпичная печь, и дым из неё выходил прямо под крышу. Вокруг печи толпилось довольно много народу. Одна полька предлагала нам вареные яйца, мы благодарили, не пользуясь её добротой. Видимо, очень уж измученный, плачевный вид наш произвёл на неё впечатление.

XI

Когда выезжали из этого села, немок на возу уже не было, но недолго пришлось отдыхать в этот день от перенесенных волнений. Шоссе проходило теперь поблизости от фронта союзников и находилось под наблюдением с воздуха. Заметив движение подвод, лётчики стали пролетать вдоль шоссе и то и дело обстреливать обоз из крупнокалиберных пулемётов. Когда подлетал сзади большой двухмоторный самолёт и непрерывно строчил из бортовых орудий, наш возница, как и все остальные, бросал подводу и убегал куда-то. Останавливаться и мигом соскакивать с высокой телеги приходилось нам каждые несколько минут. И нигде было укрыться, — по сторонам дороги почти не было деревьев. При одном прыжке с телеги я сильно содрал кожу на ноге о выступ оси, и большое тёмное пятно на голени так и осталось свидетелем всего пережитого в этот кошмарный день. Один раз мы выбросились так из телеги у сосновой рощи, вправо от шоссе. Стволы передних рядов больших сосен были срезаны и расщеплены снарядами с аэропланов. Мы устремились в глубину рощи и, упав под деревом, молились друг о друге, при особенно на этот раз продолжительном обстреле.

Когда всё стихло и мы вышли на дорогу, ни на одной из подвод ещё не было ни души. Покорно стояли лошади, уныло понуриив головы. Николай появился откуда-то через некоторое время. Весь обоз стоял; но позади, в самом конце его, одна подвода отъехала в сторону и стояла под деревом. Там лежал какой-то беженец, пожилой человек, тяжело раненый. И удивительно, что через несколько минут появился откуда-то санитарный автомобиль и раненого увезли. Обоз снова двинулся. Обстрел не повторялся, а к вечеру мы подъехали к песчаным дюнам, поросшим редким леском из

малорослых корявых сосен. Здесь предстояло нам провести ночь под открытым небом, сидя на повозках. Скоро стемнело, но луна так ярко светила всю эту тихую весеннюю ночь. Двинулись дальше ещё до рассвета и быстро покатали по направлению к Шверину. Эта часть дороги прошла уже без приключений, и около часу дня мы увидели справа большой сосновый лес, в который и углубились наши подводы, всё дальше и дальше, до широкой просеки, где стояло множество уже раньше прибывших подвод. Это и был, как оказалось, конечный пункт движения обоза, и мы должны были встать и удалиться с территории этой стоянки. Николай наш как то незаметно исчез, и оставалось только взять вещи и пешком уже двигаться к городу, что был в четырёх километрах.

И тут появились вдруг пред нами в лесу знакомые латыши, муж с женой и дочерью, ехавшие в том же обозе на одной из передних подвод. И снова наши семьи столкнулись с неизбежностью тащить все пожитки на руках. Латыш удивил нас сообщением, что в одном из госпиталей Шверина, не подверженного воздушным бомбардировкам как средоточие многих госпиталей, занимает руководящий пост его родная сестра, что к ней они и направляются, и там же сможем остановиться и мы. Он дал адрес госпиталя, и мы принялись тащить на себе весь багаж. Нам было крайне трудно, а тем более — латышам, которые остались далеко позади и скрылись из виду. Они, видимо, возвратились в лес просить о помощи подводой. Выбившись из сил окончательно, мы доплелись, наконец, до городской окраины. Там, видим, едет подвода. Спрашиваем по-немецки — не может ли возница, чернобородый, очень бледный, доставить нас в госпиталь. И вдруг он разражается целой тирадой на западно-украинском языке:

— Как это можно не услужить дорогим панам... — и так далее.

Мы сложили вещи на подводу и снова поехали, а столь неожиданный наш доброжелатель принялся тараторить так

оживлённо, бессвязно и невразумительно, что сын рассмеялся и воскликнул:

— Да это же настоящая Дунька!..

Это была наша старая киевская прислуга, — такой же тон и украинский выговор и такое же бестолковое перескакивание с одной мысли на другую. И разглагольствуя таким образом, забыв, очевидно, куда он нас везёт, таскал он нас по городу полчаса, а госпиталя так и не нашёл. Мы видели несколько больших зданий с огромными белыми крестами на стенах и крышах, и обратили его внимание на одно, самое внушительное из них, мимо которого он провозил нас уже не один раз:

— Да это он и есть, тот самый госпиталь... — заявил он смущённо и отпустил нас, наконец, получив десять марок.

Мы вошли в коридор и обратились к одной из проходивших сестёр, назвав имя врача, родственницы нашего попутчика — латыша. Она пошла наверх и скоро появилась снова, чтобы проводить нас в подвальное помещение, где в убежище на случай бомбардировки мы сможем остановиться на некоторое время. Это была проходная комната без окон. Потолок был основательно укреплён четырьмя, в полметра диаметром, сосновыми столбами, а вдоль стен проходили широкие деревянные скамьи, на которых можно было лежать. В углу стояла кровать, застланная серым одеялом, там же, рядом, была открыта застеклённая дверь в соседнее большое и светлое помещение, где были котлы и машины центрального отопления. В стене была открыта дверь в соседнее помещение прачечной. В котельной постоянно находился истопник, добродушный немец. Он предложил нам варёный картофель и посоветовал купить в городе сосисок. Мы отправились и встретили немку, с большой готовностью проводившую нас до самых дверей колбасной, где нам действительно продали немного сосисок. Ходили мы в колбасную и на второй день, и снабжал нас картофелем истопник. К вечеру первого дня появился в нашем подвале знакомый латыш. Семья его остановилась у его сестры, он же предпочёл занять кровать в нашем подвальном убежище. Спал

он в костюме и без одеяла, маленький, с раскинутыми руками, сжатými в кулачки. Сами мы расположились, не снимая пальто, на деревянных лавках, подложив вместо подушки какой-нибудь узел. Близость небольшой прачечной, которой никто не пользовался, была удобна. Мы не только умывались там, но и выстирали бельё и, вспоминая мюнхенское «с лёгким паром» Аристов, хорошо помылись, пользуясь обилием горячей воды и мыла. Но это удобство отравлялось сознанием, что всё же это больничная прачечная и, особенно, когда мы узнали, что дочь сестры латыша недавно переболела тяжёлой формой эпидемического менингита. Латыш сообщил нам также, что на днях оборудование госпиталя будет эвакуироваться, и его семья выезжает с госпиталем. Нам, однако, он не советовал оставаться здесь и, на третий день, прямо заявил, что сестра его не разрешила нам оставаться долее, и мы должны немедленно двигаться дальше своими силами. Нечего было нам раздумывать после этого, да и опасно было задерживаться здесь, как это мы сделали в Целлендорфе, под Берлином.

Страшно было, однако, и подумать о новом походе нам одним, даже без латышской семьи, в полную неизвестность. Сын тотчас же принялся пересматривать багаж и решил выбросить старый тяжёлый кожаный саквояж, — ведь это просто кожа — зачем же мы будем её таскать, — резонно решил он и переложил все содержимое в парусиновый рюкзачёк. Уже вечерело, в городе было спокойно. Но вскоре наступила полная темнота, а когда мы подходили уже к самому выходу из города на северо-запад, там уже слышна была пулемётная стрельба. Оказалось, что улица эта, по которой выезжали, один за другим, из города грузовики, как раз в это время обстреливалась с воздуха непрерывным пулемётным огнём. Мы добежали по тротуару до небольшого дома с правой стороны, последнего на этой улице, выходящей на большую загородную площадь, и нам оставалось только спрятаться от снарядов по другую сторону дома, где была маленькая ниша перед запертой дверью. Прошло так полчаса и больше, а стрельба ещё усилилась и машины уже почти

перестали проезжать, и мы теряли возможность подъехать хоть сколько-нибудь, вырваться из этого ада. Тогда мы решились выйти и, нагрузившись вещами, побежали на площадь, пользуясь минутным перерывом в стрельбе.

В ста шагах от выхода на площадь ещё стояли грузовики, и мы, подойдя к первому из них, ещё не занятому, не спрашивая, погрузили в кузов свои вещи. Пулемёт всё строил, мы уселись, и шофер мог тронуть с минуты на минуту. Но тут сын заметил, хотя было очень темно, что в десяти шагах от нас лежит на земле какой-то велосипед. И вот, в такой момент, он соскакивает с высоты кузова на землю и бежит за велосипедом. Мы — в ужасе: — А вдруг отъедем, а сын останется... Шофер даже не видел, что мы сядились в темноте... — Но сын уже тащит в кузов велосипед, я цепляюсь, помогаю, он вскакивает внутрь... и — через пять секунд — грузовик быстро отъехал.

И мы снова едем, и очень быстро, с вещами, да ещё и с таким необходимым для их погрузки велосипедом, в полной темноте, тишине и спокойствии вокруг. И так продолжалось до самого рассвета, когда мы остановились на окраине небольшого городка, куда и возвращался из Шверина наш шофер. Это был Шёнберг, чистенький, благоустроенный, не пострадавший от войны. Мы выгрузили вещи и осмотрели велосипед. Это была полицейская модель, брошенная по той причине, что педали были сломаны. Но для наших целей, — грузить на велосипед вещи, — педали — только помеха. Велосипед прочный, солидный, только одна шина выпустила воздух. Мы повесили на раму более тяжёлые вещи, и сын, уже размышлявший о необходимости иметь насос, воскликнул: — А вот и велосипедный магазин!.. — Маленькая лавка в одноэтажном домике, осенённом большими деревьями. Сын зашёл и через две минуты вынес оттуда новый вполне сносный насос, которым тотчас-же с успехом воспользовался. Теперь положение наше на много улучшилось. Укрепив на раме все вещи, мы с большим облегчением вздохнули и бодро зашагали по улицам, осматриваясь вокруг. Поравнявшись с довольно большим заводом, решили

туда заглянуть. Сын разыскал контору завода, — молочно-го, как оказалось, и он получил без карточек, сколько хотел, цельного молока. Это совсем уже нас приободрило, а затем мы достали в заводском магазине колбасы и хлеба. И неожиданно мы встретили в конторе завода нашего латыша — директора. Он прибыл в город раньше нас и уже нашёл себе квартиру: — Здесь хорошо, всё можно достать, и мы хотим пока оставаться здесь, — заявил он. Годом позже мы узнали, что он попал в Западную Германию.

Мы же решили уходить из уютного Шёнберга в тот же день и, около десяти часов утра, нагрузили свою машину и зашагали по шоссе навстречу новым неожиданностям. Мы не знали, собственно, не имея карты, куда мы направляемся, и двигались, придерживаясь западного направления, не подозревая даже, что идём по кратчайшей дороге к уже очень близкому большому городу Любеку, перед которым проходила уже заранее условленная граница — предел продвижения на запад советских армий. Часа через два мы достигли села Зельмсдорф, где сходилась два шоссе: от Шверина и от Ростока. И случилось так, что как раз в этот день со стороны Ростока происходило стремительное, беспорядочное бегство последних остатков военных немецких соединений.

Пройдя через всё это село, мы остановились, уже при самом выходе из него, в предпоследнем домике на шоссе, пересекающем село, зашли во двор и устроились на скамейке у небольшого столика при входе в кухню. Так как мы очень проголодались, сын и жена решили пойти в эн-эс-фау, где выдавали суп, к центру села, в обратную сторону. Помещалось оно в единственном в посёлке двухэтажном здании, в пяти минутах от дома, где мы остановились. Они взяли алюминиевую кастрюлю с верёвочкой над её крышкой, и пошли, оставив меня одного сидеть на скамье. Это было против всех наших правил: мы избегали разлучаться когда бы ни было, даже на несколько минут. И вот я сижу и с ужасом слышу, что начался воздушный налёт на эн-эс-фау, куда они пошли уже с четверть часа тому назад. Там послышался сильнейший пулемётный огонь и, одна за другой, там

разорвалось несколько авиабомб. Пулемётный огонь распространился вдоль по шоссе и ко мне, и одна бомба упала возле соседнего домика. Хозяйка и её отец скрылись в подвале, а я сел в кухне на выступ печки и, сознавая, что вот теперь и настал тот ужас, который всё мерещился нам все последние годы, что самые дорогие мне люди, единственные, попали как раз в самый центр этого налёта, и я не с ними, я один, всё погибло. Но вот стрельба прекратилась. Я — в отчаянии, в безумном ужасе выскочил на улицу... Смотрю направо и вижу: они... мои дорогие... тесно прижавшись друг к другу, бегут сюда... и уже близко... и на шляпах у них что-то белое, как мел, и держат они в руках ту кастрюлю, из за которой они попали туда... И не было в тот миг на земле человека счастливее меня. Они вбежали во двор и мы, все трое, все вместе снова, сели у столика и... даже ели, и с удовольствием, тот суп, который едва не стоил нам жизни. И мы были истинно счастливы.

Сын получил порцию этого супа до обстрела, и немка обещала прибавить позже. Комната была полна голодных немецких солдат. Вдруг начался пулемётный обстрел именно этого дома. Жена опасалась окон, они вышли в тёмную переднюю и сели за дверь. И тотчас же раздался грохот бомбы. Она разрушила дом, и стена, под которой они сидели, упала внутрь большой комнаты. Стало светло. Они остались невредимы и только были осыпаны извёсткой. Они выскочили наружу и хотели бежать, но неистово снова затрещал пулемёт. Они бросились в какой то двор, стучались в дверь, но она была заперта. По двору метался, пытаясь укрыться, немецкий солдат. Он дрожал как в лихорадке, и никогда они не видали такого выражения ужаса, как на лице у этого человека, немолодого, бывалого военного.

Мы сложили вещи и спрятали в нашу старую шляпную деревянную коробку с ремешком кастрюлю, ложку и эмалированную тарелку. Прицепили всё это на велосипед и вышли на дорогу. Повернув налево и, проходя мимо соседнего дома, увидели, что часть стены разрушена бомбой, и на веранде лежит убитая женщина. Едва только мы двинулись дальше,

наш ужас возрастал. На шоссе стоял пылающий грузовик, за ним другой и третий. Дальше — большая военная телега и впереди — убитые лошади с вывалившимися, страшно раздутыми кишками. Такие же ужасы продолжались, мы не выдержали и свернули вниз с шоссе, налево, вслед за бредущей впереди толпой солдат, на образовавшуюся уже, в обход этого участка шоссе, лесную тропинку.

Но, как только мы снова вышли на шоссе, совершенно уже безлюдное, обстрел с воздуха возобновился со всё возрастающей силой. Слева был глубокий откос, и видим, что молодой немецкий солдатик прячется там за стволом большого дерева и кивает нам присоединиться к нему. Мы бросили на дороге велосипед и побежали к дереву, но оно было так близко от шоссе, что мы, приметив на пригорке в стороне какой-то бункер, решились сделать под огнём большой переход через огород, рискуя гораздо больше чем под деревом, и забрались в этот, по правилам устроенный, бункер. Там было пусто и довольно грязно. Стих пулемёт. Мы посидели там с полчаса и вышли наружу.

Далеко наверху на шоссе, под большими деревьями, стоял одиноко наш велосипед, и на руле его висел маленький, ещё школьный, портфель сына, где хранились наши документы, и был привязан старый рюкзак, где были рукописи и семейные фотографии. Всё было цело, а главное — мы сами были здоровы и невредимы. И в тот час, в ту секунду, когда взвизгнула у этого шоссе последняя пуля над нашими головами, — в тот миг закончилась, в этой части фронта, а возможно и в Европе вообще, вторая мировая война. Но мы узнали об этом только вечером, в тот же, полный ужасов, а затем и радости, знаменательный день.

И мы пошли дальше. Была полная тишина. Ни души на дороге. С правой стороны мы увидели вскоре вдали, за деревьями, большое водное пространство, повидимому морской залив. И это были действительно отроги бухты города Любека, глубоко вдающейся в материк. Ещё минут двадцать, и мы были уже в предместьи города. Там приглянулся нам один дом. Мы постучались. Открыл средних лет

немец в новом чистом костюме. Вся семья сидела в коридорчике у стола и пила кофе. На просьбу сына приютить нас на часок, немец горячо возразил:

— Ведь вы сами — русские и вам будет опасно встретиться с советской армией. Поэтому вам нельзя оставаться здесь ни часу больше, поскольку, согласно договору, эта часть Любека, до моста, будет занята советскими войсками. Как можно скорее идите в том направлении — указал он — к мосту, за которым вы будете уже в английской зоне: туда советские войска не пойдут.

Мы направились в указанную сторону и вскоре подошли к мосту через небольшую реку. Немецкий военный полицейский в белых перчатках достаивал ещё на своём посту последние минуты. И вот мы уже по ту сторону реки, в английской зоне оккупации. Мы попали в какой-то сквер с газоном и деревьями, среди которых стоял небольшой дом. Оттуда то и дело выходили немки, нагружённые чемоданами и кошелками, а одна вывезла детскую коляску, на которой лежали два десятифунтовых бруска сливочного масла. Происходила ликвидация этого склада перед приходом английских войск. Сын тотчас же вошёл туда, но возвратился с пустыми руками. В этот момент как раз проезжали возле склада английские солдаты на маленьких открытых танкетках. Пройдя ещё минут десять вдоль городских окраин, мы решили остановиться в первом попавшемся бауэровском дворе, с огромным из красного кирпича хлевом под высокой крышей, включавшей под свою сень и хозяйский дом.

В широком коридоре, отделявшем дом от хлева, сидели на полу под стенкой беженки с детьми. Они приветствовали нас громкими возгласами. На шум их голосов открылась дверь справа, и высунувшаяся хозяйка в грубой форме отказала нам в просьбе разрешить расположиться в коридоре:

— Идите туда!.. — указала она на дверь в хлев и, следуя за нами, предложила занять там свободное стойло, на полу которого было немного грязной соломы, едва прикрывавшей большой, криво торчащий, канализационный

люк. Но всё это как-то мало трогало нас: какая-то радостная волна нас подмывала.

Беженки в сенях оказались немками с Поволжья, говорящими по русски. Они достали для нас у хозяйки, за наши марки, кипячёного молока и дали нам совет, как раздобыть продуктов:

— Тут через площадь, совсем близко городской продуктовый склад, и уже с утра его разбирают остовцы из лагеря, — поспешите туда и вы, а то скоро ничего не останется на вашу долю!.. — Они указали нам дорогу, и мы отправились, захватив рюкзак и верёвку. Склад и рядом с ним остовский лагерь оказались поблизости. В больших, хороших бараках царило оживление. Девушки с парнями выглядывали из раскрытых окон, наигрывали на гармониках и разъезжали вокруг на велосипедах. Большое четырёхэтажное здание склада возвышалось в ста шагах. Вокруг сновали и выходили из склада с мешками и узлами немки и наши лагерные женщины, падали сверху какие-то предметы, выбрасываемые кем-то через назаметные снизу отверстия в высокой стене без окон, валялись на земле коробки с галетами и зубным эликсиром. Сын вошёл в склад, мы же не решились и пожалели, так как он оставался там долго, и мы начали уже сильно волноваться. Он появился наконец, с полупудовым мешком кофе в зёрнах и таким же мешком сахару. Оказывается, он поднялся на четвёртый этаж по железной лестнице с площадками и люками, а спустился по особому спиральному жёлобу, устроенному для спуска мешков. И не даром мы волновались, поскольку он и сам спускался по этому жёлобу вместе с несколькими благоприобретёнными мешками и многими консервными коробками. Вернувшись в первый этаж, он вынес ещё оттуда длинный бумажный мешок с целым пудом макарон, двадцать четыре банки, в килограмм каждая, мясных и фруктовых консервов, несколько коробок хлебных галет и два пуда ржаной муки. Нести всё это через большую площадь, поросшую травой, — трав-

ка чистая, без сорняков, нигде ни бумажки, ни соринки, — всё же было трудно. Меня оставили на площади сторожить продукты, а сами, — жена с сыном, — потащили домой, — в наш хлев, кофе и сахар. Они возвратились с пустым мешком и верёвками, и мы просто «волоком» потащили всё остальное. Я тянул на верёвке по земле двухпудовый мешок с мукой и почувствовал сильную боль в голеностопном суставе, а ведь нам предстояло продолжительное путешествие пешком. У входа в дом бауэра нас встретил какой-то молодой очень приветливый крестьянин, с большим широким носом и тощей растительностью на лице. Узнав, что мы раздобыли себе кое что из продуктов, он удивился, что мы не взяли себе, как это сделал он, целый пятипудовый мешок сахару. Сам он прибыл сюда как беженец, с матерью и сестрой, на собственной подводе, парой лошадей, из своего родного села возле Луцка, с территории отошедшей к Польше в 1918 году. Они передвигались мало по малу, с перерывами, ещё с осени 1943 года, останавливались у фермеров, работали там и ехали дальше, избегая своевременно всех осложнений, связанных с приближением фронта. Они направлялись теперь в украинский беженский лагерь Гейденау, под Гамбургом, и предложили и нам ехать туда же вместе с ними. Лагерем мы не интересовались, но самая перспектива путешествовать вместе с таким бывалым человеком, предлагавшим взять на подводу все наши тяжёлые вещи, — такая перспектива была, сама по себе, для нас чрезвычайно радужной. Одно только смущало меня лично, что своей излишней поспешностью я причинил себе растяжение сухожилий сустава и боли, которые едва ли позволят мне завтра шагать за возом налегке, с пустыми руками.

Новый знакомый наш распрощался, предупредив, что зайдёт к нам рано утром, мы же стали готовить себе обед из добытых продуктов. За горсть кофейных зёрен фермерша охотно взялась сварить для нас макароны с сахаром в большой кастрюле цельного молока — любимое наше блюдо с этого времени, пока не иссякли макароны и кофе.

После обеда, сидя в хлеве на грязной соломе, мы за-

метили через пыльные окна сарая, в отдалении среди открытого поля, группу немцев, подходивших, по очереди, с велосипедами в руках и ранцами на плечах, к двум английским военным. Англичане отбирали у них, бросая в кучу, вещи и велосипеды, после чего, зарегистрировав каждого, один из военных повёл всех немцев куда-то. Мы догадались, что там происходит сдача немцев и плен, и сын, невзирая на наши протесты, смело направился к английскому военному, надеясь поживиться чем либо из вещей. Я пошел за сыном. Военный сразу же признал в нас « союзников » — русских, и тут же сам предложил нам выбрать себе по велосипеду из целой кучи беспорядочно брошенных на землю машин.

Мы выбрали превосходный Гумбер и еще один велосипед лучшей марки, и военный дал еще сыну, в придачу, новый ранец с одеялом и другими новенькими вещами. Теперь мы владели уже тремя велосипедами и могли легко погрузить на них не только все свои вещи, но и большую часть добытых из склада продуктов, а пока-что можно было свалить всё тяжелое на воз Григория, нашего нового знакомого и попутчика. Оставаться, как решил он сам, под Гамбургом мы не могли, но двигаться в том направлении было неизбежно, поскольку только там можно было перейти реку Эльбу, чтобы направляться уже на юг к нашим основным целям: первое, — разыскать в Ганновер-Мюндене нашу старую знакомую, Галю В-скую, а оттуда — идти дальше на юг, к самому Гейдельбергу, где, как мы надеялись, сын сможет продолжать своё университетское образование, прерванное на втором курсе эвакуацией университета из Киева в начале войны. Мечтая таким образом, мы и не подозревали тогда, какие осложнения и угрозы ожидают еще нас в результате Ялтинского соглашения, о котором мы в то время не имели еще понятия.

Настали сумерки этого богатого событиями дня, 3-го мая 1945 года, и мы уже стали готовиться к ночёвке в хлеве, как вошли к нам в сени два английских солдата. И один из них обратился к нам с торжествующей улыбкой

и взволнованно, торжественно произнёс по-французски: —
Война окончилась ! . .

Все мы, как могли, поблагодарили его за эту чудесную
весть, а они оба выходили от нас задумавшись, всё ещё
поглощенные великим значением этих слов, которыми им
захотелось поделиться с нами.

XII

Рано утром мы поднялись на своей грязной соломе бодрые и оживленные. Боль в ноге как рукой сняло, можно было продолжать пеший поход, теперь уже в новой, мирной обстановке. Мы снова сварили у хозяйки большую порцию макарон в молоке с сахаром и не успели еще покончить с едой, как подъехал уже к нашим дверям Григорий на фургоне с брезентовым верхом. Из будки выглядывали мать и сестра Григория, лет пятнадцати, обе свежие, розовые, видно не испытывавшие беды. Григорий спрятал в глубине своей будки весь наш накануне благоприобретённый багаж, мы же повесили на велосипеды только наиболее ценные вещи.

— Да какой же он у вас старый, ваш муж!.. — обратилась к жене мать Григория при виде меня, стоявшего у своего велосипеда с давно небритым, измученным лицом, в старом потёртом зимнем пальто, — пусть он садится и едет с нами! — Но я отклонил её любезное предложение, и мы трое, с руками на рулях легко нагруженных велосипедов, дружно двинулись следом за подводой.

Дорога вела сначала вдоль окраины Любека. Скоро мы уже вышли на широкий автобан Любек-Гамбург, с островками зелени посредине и особыми дорожками для велосипедистов по краям. Для нас, ведущих свои велосипеды, такие дорожки представляли большое удобство, и мы шагали с каким то даже своеобразным удовольствием и лёгкостью. Когда вы идёте, опираясь обеими руками на руль нагруженной машины, вы уже почти не чувствуете веса всей верхней половины тела. Мало того, большая инерция машины увлекает вас вперёд, и шагать вам много легче, чем с пустыми руками. И как раз на этом участке хорошей благоустроенной дороги мы впервые ощутили особое, радостное чувство полной свободы, в смысле отрыва от всех забот о ком-либо, от каких либо обязанностей, — чувство, испы-

тываемое иногда путешественниками, но нам ещё незнако-
мое. Мягкие косые лучи весеннего утреннего северного солн-
ца освещали, вдоль аккуратных цементных обочин широкого
шоссе, чистую низкорослую травку с милыми мне с детских
лет белыми головками ползучего клевера, будили дорожные
воспоминания, такие далёкие, и руки ещё бодрее толкали
упруго подпрыгивающие, несущие нас вперёд большие колё-
са, и ещё живее шагали, казалось, — неутомимые ноги. И
мы прошли за этот день, почти без остановок, следуя за
подводой, более двадцати пяти километров. Солнце уже бли-
зилось к закату, когда мы заметили, что Григорий, который
всё время ехал далеко впереди нас, остановился в усадьбе,
высокое гумно которой было видно издалека, слева. По
другую сторону дороги стоял хозяйский дом. С разрешения
хозяйки, Григорий въехал со своим фургоном в самую клу-
ню. Там было только немного сена и снопов соломы, нава-
ленных под очень высокой стеной клуни, а в верхней части
стены была сквозная деревянная решётка для вентиляции
и просушки сена и снопов. Мы отправились к хозяйке ку-
пить молока. Она отказывала сначала, но, получив с пол-
фунта кофе, не только принесла из погреба молока, но и
сварила для нас макароны и подала чистые тарелки. Воз-
вратившись после ужина в клуню, увидели, что Григорий
успел уже устроить отличную постель для своих баловней
— матери и сестрицы. На толстом слое сена были разост-
ланы чистые простыни, несколько больших подушек и хоро-
шие одеяла с белой подкладкой. Мы же, не раздеваясь, улег-
лись на снопах ржаной соломы, устроив из них род поду-
шек. Из решётки в стене над нами веяло свежим ночным
полевым воздухом, и мы уснули так чудесно, как не спали
уже много недель.

Рано утром мы отправились дальше, по направлению к
Гамбургу, до которого оставалось ещё около тридцати ки-
лометров. Теперь мы встречали очень много английских
военных машин, идущих по направлению к Любеку. На зе-
лёных участках, разделяющих автобан, были расставлены в
большом порядке кучки каких-то снарядов на всём протя-

жении дороги. Машины были всё новые, превосходно оборудованные. Они стремительно, с режущим неприятным шумом пронеслись навстречу, обдавая нас воздушной волной. Мы двигались с правой стороны, они же придерживались левой, как это принято в Англии, о чём мы тогда не знали. Григорий опережал нас, и мы часто теряли его из виду. Между тем солнце спряталось за тучу и весенний шумливый ливень вдруг разразился. Не будь на нас тёплые пальто, мы промокли бы до нитки. По дороге валялись выброшенные или оброненные коробочки с кусочками сахара, в одном месте валялась целая пачка новых зелёных ассигнаций. Жена отстала немного со своим велосипедом, и вдруг раздались её взволнованные возгласы позади. Оказалось, она протянула руку к пачке денег и уронила свой велосипед, поднять который у неё не было сил. Мы возвратились, рассмотрели пачку незнакомых денег и бросили её на то же место, где её нашли. В этот день мы сделали только одну остановку в роще, где стояла небольшая дача, род кабинки, перед которой немецкая семья у маленького столика пила кофе. Они остановили нас, разузнать о ходе событий. От них мы узнали, что вовсе не так скоро будет дано английским командованием разрешение на переход мостов в дельте реки Эльбы под Гамбургом. Это могло задержать нас в Гамбурге на неопределённое время и произвело неприятное впечатление — предчувствие новых забот и волнений.

После этой остановки мы прошагали ещё часа три и добрались, ещё перед заходом солнца, до дачного посёлка, в десяти километрах от Гамбурга. Григорий уехал далеко вперёд, и мы не видели уже его фургона. Повидимому, он заехал в какой-то двор. Весь посёлок состоял из небольших двухэтажных вилл. Это был Ральштедт. В поисках исчезнувшего Григория, мы обратили внимание на единственный на всей длинной улице, типичный для нижней Германии фермерский двор с громадной постройкой, вмещающей и дом хозяина и скотный двор. Только в этом дворе и мог остановиться Григорий. Войдя прямо с улицы в коридор,

увидели открытую дверь, за которой сияла своей чистотой и белизной мебели и двух огромных кафельных плит большая кухня. Хозяйка, дама полная и опрятно одетая, была неприветлива, но сразу изменила тон, когда узнала, что у нас есть кофе в зёрнах. За предложенные ей два фунта кофе, она согласилась давать нам ежедневно, в течение двух недель, по три литра цельного молока и варить два раза в день всё, что мы попросим, из наших продуктов. Но устроиться у неё с помещением оказалось очень не легко. Она предложила нам стойло для коровы, чистое, впрочем, и наполненное свежей соломой и сообщила, что Григорий остановился у неё во дворе. Мы отправились его разыскивать. Он устроился уже в большом сенном сарае в конце широкого двора. Заявил, что собирается через два дня ехать дальше, в украинский лагерь Гейденау и будет переправляться через Эльбу на пароме, вместе с лошадьми и повозкой. Нам, выходило, с ним будет дальше не по дороге. Оставалось только взять у него наш багаж и поблагодарить его, прощаясь, с большим сожалением, с этой семьей, встреча с которой так приободрила нас.

Возвратившись в дом бауэра, мы встретили там их работника, из остовцев, бледного и очень истощённого. Он заявил, что сегодня уже оставляет у них работу и уходит в ближайший лагерь, что фермерша морила его голодом, молока давала только, « чтобы чуть-чуть замутилось кофе. » Он показал свою комнату, где прожил три года. В ней было не больше пяти квадратных метров, хотя окно было велико, стояла узенькая железная кровать и грязный шкаф, внутри которого была только старая упряжь, всюду пыль и сор. Но всё же это было не стойло, и мы попросили хозяйку уступить нам на неделю эту комнату, на что она и согласилась. Мы принялись чистить комнату и кровать, выбросили матрац и заменили его соломой, устроив эту постель для сына, после чего опрокинули шкаф, положив его задней стенкой вверх. Получилась кровать, достаточно широкая для двоих, и мы покрыли её слоем соломы. Раздеваться, конечно, было невозможно.

Стемнело и, не имея освещения, мы улеглись, наконец, отдохнуть. Довольно большое окно наше выходило в сторону Гамбурга, и там, на горизонте, мы увидели яркий и широкий луч света. Сильный прожектор стоял совершенно неподвижно, как бы показывая всем, что затемнение более не требуется, войны уже нет. И когда, поворачиваясь на своём жалком ложе, я взглядывал среди ночи на этот яркий луч, тихая светлая радость поднималась и наполняла душу. Но недолго могли согревать нас, среди всех невзгод и бесприютности, такие светлые мгновения. Вскоре суждено было нам глубоко почувствовать, что бегство наше далеко ещё не закончилось, что избежав опасности быть настигнутыми советскими войсками или бомбами западных союзников, мы подвергались теперь не меньшей опасности принудительной репатриации.

Уже на следующее утро, когда мы явились к бургомистру за получением продовольственных карточек, оказалось, что мы, как представители союзной державы, то-есть СССР, будем получать двойные карточки. Это не обрадовало нас, это встревожило. Было очевидно, что западные державы вовсе не считают нас политическими эмигрантами. Мы волновались бы много больше, если бы знали тогда о существовании невероятного Ялтинского соглашения. Мы и не подозревали тогда о той жуткой разнице нашего положения с правами того же Григория, польского подданного. Он, направляясь в лагерь, имел все основания надеяться на благополучный исход дела, как лицо, проживавшее до 1-го сентября 1939 года на территории Польши, мы же безусловно подлежали насильственной репатриации и должны были, во что бы то ни стало, совершенно избегать лагерей, что мы и делали.

А пока мы получили по двойным карточкам хорошего сливочного масла в единственной там чистенькой продовольственной лавочке, на углу прекрасной, благоустроенной улицы этого городка, окружённого буковым лесом и состоящего исключительно только из загородных вилл состоятельных людей. На улице мы встречали разъезжающих на вело-

сипедах типичных советских девиц. Оказывалось, что и там был небольшой остовский лагерь, куда и направился раб-отник нашей хозяйки. Нам было очень уж неуютно в оставленной им комнате и решено было поискать лучшее помещение.

Проходя по улице, мы заметили неподалеку от дома фермера красивый серого цвета особняк в два этажа, окружённый садом. Старик хозяин сдавал в первом этаже две комнаты одинокой особе и мог бы свободно поместить и нас, но отказал. Всё же, соблазнившись предложенными ему двумя фунтами кофе, он решился предоставить нам маленький летний павильон в конце сада, состоящий из комнатки и ещё каморки при ней, с окнами и даже ставнями, всё это чистенькое, недавно окрашенное. Внутри стояла превосходная новая кровать с матрацом. И мы почувствовали себя, впервые после всех невзгод и лишений последних лет, в тихом и уютном пристанище. Мы не могли двигаться дальше, до получения в Гамбурге разрешения на переход через реку Эльбу и пропуска для дальнейшего путешествия по английской и американской зонам Германии. Все это отняло у нас больше месяца, и возможность провести это время в сравнительно хороших условиях имела для нас большое значение. Домик наш стоял среди густой зелени фруктового сада, и стройные деревья штамбового крыжовника, с крупными уже ягодами на шаровидной кроне, украшали дорожку, ведущую к дому хозяина. И любимая наша, с некоторых пор, птица, певчий дрозд, садилась перед вечером петь наверху обрубленного дерева над нашим кровом. Сын познакомился с квартиранткой хозяина, у которой было пианино и радио, и тотчас же принялся часами просиживать за пианино, импровизируя по своему обыкновению и записывая свои мелодии. Он уже четырнадцати лет написал свою первую инвенцию и учился два года в музыкальной школе при киевской консерватории.

Но более своевременным для него было прислушиваться к радиопередачам, ежедневным и настойчивым, на русском языке, которые глубоко тревожили нас и не

оставляли сомнения, что цепкие советские щупальцы уже протягиваются к нам, пользуясь непонятным ещё для нас содействием западных держав. Нас очень беспокоило также, что нет еще возможности двинуться на юг, чтобы, как можно скорее, достигнуть города Мюнден, в провинции Ганновер, в окрестностях которого работала у бауера невеста нашего сына, Галя В-ская, потерять которую было бы для нашей семьи большим огорчением. Мы слышали передачи о подготовлявшейся репатриации из лагерей остарбайтеров и были крайне встревожены, чувствуя, что теперь дорог каждый день, и, потеряв столько времени здесь, мы не застанем её не только на месте работы, но и в лагерях, куда, судя по передачам, собирали уже всех остоццев для репатриации.

Пока же нам приходилось только ещё обживать своё новое, временное убежище. Мы бегали со своей дачи к фермерше варить макароны и устраивали свои постели. От хозяина дачи, Зенксена, сын узнал адрес одной немки, которая могла бы, по его словам, одолжить нам кровати и матрацы. Мы взяли фунт кофе и направились туда. В чистом и светлом полуподвале виллы было машинное отделение центрального водяного отопления, и там же были сложены, один на другом, совершенно новые матрацы, а рядом лежали, в разобранном виде, прекрасные стальные кровати. С удивительной готовностью выдала нам хозяйка за фунт кофе, на неопределённое время, кровать и два матраца и предложила для перевозки всего этого прочную рессорную двуколку. Второй кровати мы не взяли, — негде было бы поставить её в нашей маленькой беседке, и я удовольствовался одним матрацом, положенным на полу. В крошечной второй клетушке поместили велосипеды, продукты и прочее. Дверь хорошо запиралась, и мы имели возможность отлучаться из дому. Снаружи, у входа, под окошком стояла скамья и столик, где мы обедали. В саду можно было прогуливаться по длинной дорожке, мимо са-райчика с садовыми инструментами и какими-то большими, продолговатыми корзинами, в фут шириной, с прочной руч-

кой, искусно сплетенными из лыка. Я сразу же решил, что следует попытаться выменять эти корзины у хозяина на кофе, чтобы укрепить их не велосипедах и грузить в них продукты, за неимением мешков. Позади дачи был высокий частокол, за которым простирался целый квартал, засеянный обыкновенным овсом, овсяное поле. Туда смотрело наше второе маленькое окно, что было над кроватью сына. И всё это появилось в нашей жизни как то сразу, почти без перехода, после крайних лишений и ужасов последних дней войны, самых последних её снарядов, обрушившихся как раз на нашу голову в селе Зельмсдорф, всего четыре дня тому назад.

Но те тревоги и опасности сменялись уже новыми, злобно звучащими в призывах по радио, о безусловной репатриации всех советских подданных, и необходимо было как можно скорее двигаться на юг, где мы надеялись встретиться с какими-либо знакомыми, поделиться опасениями с людьми, находящимися в сходном положении, не оставаться в таком полном отрыве от всей той массы научных работников, с которыми мы выехали из Киева и которые, как это выяснилось впоследствии, в большинстве своём, ещё до начала решительных военных действий, зимой 1944 - 1945 года, получили возможность двигаться на запад и добрались благополучно и без всяких приключений до Штутгарта и Мюнхена. Нам хотелось также разыскать в районе Ганновара новое имение бывшего Мюнхебергского Института и осведомиться о судьбе наших вещей, эвакуированных перед оставлением Мюнхеберга. А — главное, необходимо было поспешить в Мюнден, где мы всё ещё надеялись застать и спасти от репатриации нашу предполагаемую в будущем родственницу. Поэтому, уже на второй день после нашего переезда «на дачу», в первых числах мая, мы ранним утром отправились на местную станцию гамбургской подземной дороги, захватив с собой немного провизии.

По дороге к вокзалу мы впервые познакомились с буковым лесом, против которого, по левой стороне шёл ряд

красивых вилл, заканчивавшийся зданием вокзала. Поезд отошёл через десять минут, пассажиров было немного. Среди них, одна седая, очень бодрая и подвижная немка с коротко стриженными волосами сразу же обратила на нас особое внимание. Она заявила, без всяких предисловий, что уже знает, кто мы такие — мы беженцы из России, что она может читать чужие мысли и уже много лет является членом антропософского кружка. Она предложила нам остановиться в свободной квартире, рядом с её собственной, и дала адрес. Мы расстались с ней при выходе из подземки, хотя она настойчиво приглашала нас к себе. Но нам хотелось сперва разузнать относительно пропуска через Эльбу, пользуясь полученными от неё указаниями. В центральной части города не было почти разрушений, и мы полюбовались издавна знакомыми, по описаниям, местами, как Алтона и Альстердам, по широкому тротуару которого мы проходили с большим интересом. Пользуясь непонятной способностью сына сразу же ориентироваться в незнакомом городе, без труда разыскали замечательный по архитектуре ратгауз. Там уже работали английские военные — переносили мебель и устраивали перегородки, приспособляя здание для своих целей. Видно было, что они ещё только начинают устраиваться, и невозможно было надеяться в ближайшие дни на получение пропуска. В одном из коридоров, у широкой мраморной лестницы, остановил нас местный русский старый эмигрант, работавший как переводчик. Он сказал, что за получением пропуска нам следует явиться не раньше как недели через три и сообщил о недавнем печальном событии — кончине президента Рузвельта:

— Теперь президентом будет Трюман, — добавил он, — и это будет гораздо лучше для вас, — теперь вам бояться нечего.

«Значит — было чего бояться» — явилась тревожная мысль — «и мы волнуемся не напрасно!» Он имел в виду ту опасность, которую представляло для нас Ялтинское соглашение, не предполагая, что мы и не слышали ещё о нём. Слова эмигранта и встревожили и, в том же время,

— несколько обнадежили нас. Тем более, что, по его словам, один местный священник, всеми уважаемый и влиятельный, делает очень много для защиты бывших советских граждан, проявляя огромную энергию в борьбе против тенденции союзных властей способствовать советчикам в деле насильственной репатриации остовцев и других лиц из беженцев, и что под его покровительством находится большой лагерь в Гейденау, где поэтому безопасно. Григорий как раз и направился в этот лагерь, но для нас перспектива поселиться в таком лагере представлялась невыносимой. Делать нам в Гамбурге было пока нечего и досадно было очень, что отъезд наш в Ганновер-Мюнден надолго откладывается. Мы вышли из ратгауза и решили поискать в магазинах нужные нам очки, а также рисовальные принадлежности для сына. Он без труда разыскал писчебумажный магазин, где нашлась бумага, карандаши и пастьел. Он купил также нотной бумаги и был очень доволен. Затем мы зашли в магазин оптика и подобрали очки для жены и меня, и оптик обещал приготовить их к полудню следующего дня. Покончив с делами, мы направились к знакомой антропософке. Квартира была на втором этаже шеститажного дома, все стены которого были в мелких трещинах. Она была дома. В маленькой уютной гостиной стояли только пианино и старая кушетка. Было впечатление, что она уже ожидала нас: в кухне стояли четыре чашки с горячим кофе и четыре стула. Она рассказала, что дом этот был сильно расшатан во время воздушных бомбардировок и весь в трещинах, что в северной части города, где огромная площадь была занята жилыми кварталами и в центре их был парк, все жилые дома были уничтожены авиацией в одну ночь. Жители пытались спастись в парке, куда не падали бомбы, но никто не выжил, поскольку вокруг на огромном пространстве горели здания, поглощая весь кислород из воздуха и выделяя ядовитые газы. Немка перешла затем на темы из антропософии и предложила нам кофе-эрзатц. Мы вымыли руки, достали свои запасы и предложили ей в благодарность вместе с

горстью настоящего кофе. Затем она показала нам соседнюю, свободную, квартиру и напомнила, что она имеет способность читать чужие мысли, предупредив, чтобы мы не брали себе ничего из мелких вещей. Множество различных щёток и щёточек были разложены перед большим зеркалом в ванной комнате. Утром мы снова напились кофе-эрзатц и простились с хозяйкой. Посетили снова ратгауз, но ничего нового не узнали, получили две пары хороших очков и заплатили всего восемнадцать марок. Через час мы были уже дома и застали всё в полном порядке. Черный дрозд сидел на своём дереве и встретил нас задумчивой грустной мелодией. Мы взяли продукты и отправились к фермерше варить обед.

На следующий день мы решили начать приготовления к возможному уже в недалёком будущем отъезду. Сперва осмотрели велосипеды. Ехать на них мы не собирались, но необходимо было их ремонтировать, особенно старый, полицейский. Сын сорвал с него номер и забросил его в овсяное поле за нашей дачкой. Затем мы повели все три машины к мастеру, довольно далеко, в противоположном конце посёлка, при самом выезде из него по шоссе на Гамбург. Мастер обещал всё исправить, но не раньше как через две недели. Чувствуя, что необходимо его подгонять, мы посещали его несколько раз, пока всё было, наконец, в порядке. Оставалось ещё решить задачу, каким образом можно укрепить на шатких велосипедах большие тяжёлые связки с продуктами и другими вещами, и мы изыскивали способы, где бы и как раздобыть верёвки и другие необходимые материалы, отправляясь, в то же время, по-несколько раз в день к соседям послушать радиопередачу на русском языке. Ничего утешительного там не было. Обманываемая лживыми обещаниями о предоставлении возможности каждому возвратиться к своему домашнему очагу, остовская молодёжь уже начала добровольно собираться в репатриационных лагерях и готовиться к отправке на родину. Надежда, что мы ещё сможем удержать от репатриации нашу Галю, с каждым днём становилась всё более

призрачной. При таком положении дел, и наша собственная судьба рисовалась нам в самых мрачных красках.

Но сын наш не поддавался подобным настроениям и удивлял нас и, в значительной степени подбадривал, своею находчивостью, оптимизмом и даже, казалось бы, совершенно несвоевременным увлечением музыкой и рисованием портретов. В тех случаях, однако, когда заказчиками портретов являлись лица с каким-либо весом и значением, его увлечение рисованием получало уже некоторые реальные основания.

Между тем время шло, и следовало уже определённо подумать, как приспособить велосипеды для перевозки тяжёлого груза необходимых нам продуктов. Ещё раньше мы заметили в сарайчике большие лыковые корзины и теперь решили попросить три из них у хозяина дачи, предложив за них некоторое добавочное количество кофе. Старый немец был рад, он сам хотел избавиться от корзин, и мы добыли у него ещё верёвок и плотную тесьму для укрепления корзин на велосипедах. В них вошли все продукты, а также и сёдла от велосипедов, которые пришлось снять, чтобы возможно было установить корзины на велосипедных багажниках.

В таких заботах и просто отдыхе прошло около трёх недель, и мы собрались вторично в Гамбург, но снова безуспешно, поскольку выдача пропусков не только ещё не начиналась, но и не было указано для этого определённого срока. Узнали только, что пропуск следует просить «для возвращения к прежнему месту жительства и работы». Таким местом мы хотели бы, конечно, назвать Гейдельберг, о котором было известно, что он не испытал разрушений во время войны и, главное, — там находился известный старинный университет, куда уже в первой половине прошлого столетия приезжали многие русские студенты «для усовершенствования в науках», где учились и работали Менделеев и Бородин. Гейдельберг был любимым городом Тургенева, неоднократно о нём упоминавшего, и название этого города было поэтому ещё с детских

лет окружено в моём воображении каким-то ореолом. И мы надеялись, что сын наш сможет там успешно продолжать своё университетское образование как ботаник, прерванное с началом второй войны.

Явившись в Гамбург третий раз, уже 20-го июня, и поднявшись по широким мраморным лестницам ратгауза, мы застали там уже полную деловую обстановку. Нас направили в зал, где справа в углу под окном сидел необыкновенно, на наш взгляд, выхоленный и хорошо одетый английский чиновник. Он лениво глянул в наши фремпен-пассы и услышав, что мы «возвращаемся на старое место жительства и работы в Гейдельберг», взял бланк для пропуска и, без дальнейших разговоров, вписал на машинке туда наши имена, цель поездки и конечный пункт, подписал бумагу и приложил печать Военного Управления. И каждое его движение, каждое написанное им слово составляло в этот момент решающее для нас событие.

Ободренные успехом, мы решили немного поразвлечься и посетить, бывший когда то знаменитым, Гамбургский зоологический сад Гагенбека. Долго ехали трамваем по живописным, полным густой зелени деревьям, не пострадавшим кварталам. Зоопарк был расположен уже совсем за городом и сильно пострадал. Часть построек была разбомблена, от аквариума остались только стены. И вообще весь этот зоопарк был устроен в очень скромных размерах, теперь же почти все животные погибли от голода и недосмотра. Мы остановились перед самкой тюленя, плоское тело которой распласталось на камне, погруженное отчасти в воду. Она умирала от голода. Её детёныш чуть двигался еще. Он то брал потихоньку, то выпускал из губ холодный, пустой сосок своей матери. Мы отошли, не имея сил смотреть, и пожалели, что затеяли эту ненужную поездку в зоопарк.

По возвращении в Ральштедт, мы наскоро приготовили в последний раз макароны и принялись укладывать и увязывать вещи и продукты, чтобы выехать, выйти в новый поход завтрашним утром, — разорить тот уютный

уголок, где мы спокойно провели больше месяца, хорошо отдохнули и набрались сил. Желая возвратить немке одолженную у неё кровать и матрацы, мы отправились к ней за двуколкой.

— Не беспокойтесь — возразила она, — я сама заберу эти вещи у господина Зенксена. — Мы поблагодарили ее, и она пожелала нам счастливой дороги.

На утро, в девять, мы уже кончали увязывать багаж. Заглянули в последний раз в нашу дачку и двинулись навстречу новым неожиданностям и превратностям.

Вести исправные машины, положив руки на руль, было удобно, мы прошли весь посёлок и углубились в тенистую аллею из густых деревьев — шоссе на Гамбург, а часа через два начались уже сплошные руины северной части города, которые мы пересекали более двух часов, пока достигли, наконец, той мало разрушенной части города, где мы уже бывали. Измученные жаждой, при сухой жаркой солнечной погоде, мы проходили знакомые уже улицы, но нечего было и думать найти какое-нибудь питьё. Вот Гамбург уже пройден, и приближаемся мы уже к первому из мостов через дельту Эльбы. На каждом из мостов, а их было три или четыре, стоял часовой в белых перчатках. И каждый из них, едва только взглянув на пропуск с печатью военного управления, подавал знак проходить. Вот последний мост и за ним — дорога на город Харбург, откуда мы уже надеялись ехать по железной дороге, хотя никто ещё в Гамбурге не мог даже высказать на этот счет никаких предположений, поскольку участок Гамбург-Харбург ещё не функционировал из-за неисправности железнодорожных мостов. Часа через два мы подходили к окраинам Харбурга. Справа был тротуар под густыми деревьями, осеняющими высокий дом. В открытом окошке что-то продавалось. Оказалось — пиво, и такое освежающее!.. Мы выпили по своей дорожной кружечке. Стало легче, настроение приподнялось немного. Ещё минут десять, и мы подошли к вокзалу.

XIII

Перед нами были приземистые постройки каких-то складов, вокзал был, видимо, где то дальше. Был виден только широкий низкий проход к перрону, под большими тёмными навесами. Тишина полная, ни души вокруг, спросить не у кого. Напротив — площадь, где было несколько тощих кустов и перед ним — узкая полукруглая скамья. Мы присели и, впервые после многих уже дней сравнительно бодрого настроения, почувствовали себя совершенно беспомощными, обречёнными средн этой чужой страны, где мы не имели, по существу, даже права на жительство, без надежды на приют и убежище. Было очевидно, что движения по дороге ещё нет, не видно даже вокзала, некуда деваться, не у кого спросить. Мы направились в тёмные, пустые проходы под навесом.

Вот видим, наконец, проходит человек... Мы обратились к нему...

— Никаких поездов ещё нет... и когда будут — неизвестно, — был ответ.

Появляется второй служащий, навстречу первому, и громко, во весь голос, объявляет:

— Поезд на Люнебург, Эльцен, Целле, Ганновер!.. Через пятнадцать минут!..

Мы снова ожили. Мигом — обратно к скамейке и тащим свои машины на перрон. Слышится шум, такой знакомый лязг поезда, и проходят пустые товарные вагоны с настежь открытыми дверями. Поезд остановился и — новая забота: нет времени отвязывать груз и придётся тащить наверх тяжелые, нагруженные корзинами и мешками машины. Страшно волнуясь, что поезд вдруг двинется, втащили упирающиеся катящиеся обратно колёса, рискуя их поломать. Вот мы уже там, внутри вагона, мы

— единственные и первые пассажиры этого первого на этом участке поезда после окончания войны, пассажиры, натурально, безбилетные. И вот он уже отходит... Наступил вечер, стемнело, но мы — радостные, возбуждённые, не чувствуя ни усталости, ни голода, опустились на давно немытый пол вагона среди беспорядочно опрокинутых вокруг нас велосипедов, пользуясь возможностью отдохнуть немного и сократить на сотню или более километров то пугающее расстояние, преодолеть которое пешком было бы едва ли возможно. Поезд шёл быстро, задерживаясь только на минуты на немногих станциях. Мы просидели так, без сна, до рассвета, и вдруг поезд остановился среди множества запасных путей какой-то большой станции. Проходивший со стороны паровоза человек сказал, что это уже Ганновер, поезд дальше не пойдёт, и надо выходить.

Платформы не было, и мы с трудом спустились вниз на шпалы тяжёлые машинные и, заметив маленькую свободную от рельс площадку, присели там на кучу шпал и сразу же забылись крепким сном. Это продолжалось часа три и кончилось новым беспокойством. Сын почувствовал боль в руке, кисть сразу вспухла, и был замечен след от укуса какой-то мухи. Мы сильно встревожились и сразу же повели машинные к городу, чтобы немедленно обратиться там к доктору. С большим трудом выбрались из этой путаницы рельсы и шпал на улицу, тут же узнали адрес ближайшего доктора и очень скоро стояли уже перед его скромным домом, на краю какого-то сада или парка. На дверях у врача висела карточка, приколотая кнопкой. Мы вошли в приёмную, где сидел один пациент. Вышел доктор, отпустил больного и обратился к нам. Осмотрев руку, он очень нас обрадовал, заявив, что это пустяк, часто здесь случается от укусов мух и проходит само собой. В благодарность, он получил от нас две пачки папирос и рассыпался в любезностях. Он сказал сыну, что здесь поблизости живёт одна одинокая дама, и мы сможем у неё остановиться. Нам хотелось попытаться разыскать то «новое имение» бывшего Мюнхебергского института. Дом пожилой одинокой

дамы находился за ботаническим садом, который начинался тут же, у самой квартиры доктора. В саду этом не заметно было ничего такого, что отличало бы его от обыкновенного запущенного парка с заросшими травой дорожками. Пройдя уже весь сад, мы обратили внимание на необыкновенно высокое дерево конского каштана, у самого ствола которого стояло старенькое строение с двумя нолями на дверях, а рядом виднелась входная дверь в старый большой двухэтажный дом, хозяйкой которого и оказалась дама, рекомендованная доктором.

И дама эта приняла нас так, словно мы были её долгожданными, милыми родственниками. Она предоставила нам спальню своего сына, который был в английском плену. Наш сын напомнил ей собственного, и её любезности не было предела. Она рассказала свою биографию, подробно осведомила нас о своих недугах и, казалось, она готова была держать нас у себя до самого возвращения её сына из плена. Комнаты у неё были большие и светлые, но дом очень древний, настолько, что в нём не было даже уборной. Мы предложили ей немного кофе и поделились частью своих макарон, из которых она готовила нам вкусные блюда. От неё мы узнали, что в городе нет никаких научных институтов, за исключением сельскохозяйственной школы, которую мы и разыскали на следующий день. Это было нечто очень скромное, и там никто и понятия не имел об институте, эвакуированном из Мюнхенберга.

Хорошо передохнули мы у гостеприимной старушки и на третий день утром попрощались с ней и увязали свои корзины. Поезда не ходили ещё к югу от Ганновера, поскольку не были восстановлены железнодорожные мосты, и мы очень опасались, что не сможем уже во-время достигнуть того отдалённого пункта, где работала у бауэра наша Галя В-ская.

И вот мы уже шагали по шоссе мимо загородных вилл, тянувшихся сплошным рядом справа, без единого деревца вокруг, на чистом ровном пустыре. Но вот дома кончились, и пошла открытая дорога. Было тяжело брести под лучами

уже летнего солнца, мы сняли пальто, привязали их к машинам и вспомнили, как хорошо было нам, ранней весной, шагать по широкому автобану без тяжёлого груза, что ехал на подводе. Проголодавшись, мы остановились у дороги под одиноким деревцом и, собрав несколько веточек, согрели в кастрюле немного взятой из города воды. Небольшой аэроплан пролетел над нами и неподалеку, в стороне, плавно спустился. Мы уже не боялись теперь этих машин. Кругом простирались поля до самого горизонта, и было похоже, что нам не добраться в этот день до населённого пункта. Мы приуныли немного и решили обратиться к шоферу первого же проходящего грузовика. Но прошло не менее двух часов до того момента, когда мы услышали, наконец, шум приближавшейся машины. Шофер ехал в город Альфельд и за пачку папирос соглашался даже обожждать немного, пока мы освобождали велосипеды от грузов, чтобы колёса не пострадали от тряски во время дороги. К вечеру он доставил нас в городок Альфельд и подъёз к единственной там гостинице. За несколько марок нам дали большую комнату с четырьмя старинного типа кроватями и не возражали даже, что мы втащили туда велосипеды. Мы хорошо отдохнули в этой тихой уютной обстановке, где веяло глубокой стариной.

Утром мы позавтракали кое-чем из своих запасов и начали собираться снова в путь, разузнав, что ближайшим значительным пунктом по дороге к Геттингену, откуда уже недалеко до Мюндена, куда мы стремились, будет город Нортгейм. Увязали вещи, на что всегда требовалось много времени, и двинулись дальше пешком, не надеясь, что из этого старобытного городка могут выезжать машины. Но не прошло и часа, как послышался шум позади и грохот приближавшегося грузовика. Шофер задержал ход при виде нашей, не раз уже удивлявшей немцев вереницы тяжело нагружённых машин, и предложил подвезти до Нортгейма. Он очень спешил и не мог ожидать, пока мы будем разгружать велосипеды, и мы взгромоздили их на его совершенно пустой кузов вместе со всеми корзинами и мешками.

Немец сразу же дал полный ход и помчался, что было сил. Хорошо было снова быстро двигаться вперёд, но слишком уж сильно бросало, мы едва удерживались, цепляясь за борта кузова, и не было никакой возможности замедлить эту скачку. Так мчался немец, как угорелый, без остановок, около двух часов и вдруг резко затормозил на окраине Нортгейма, где уединённо возвышалась среди больших деревьев старая церковь, и потребовал тотчас же освободить машину. Мы дали ему пачку папирос и, принявшись стаскивать велосипеды, с ужасом заметили, что колёса двух машин приведены в негодность. Обода погнулись, многие спицы повискочили. Нельзя было и думать везти на них грузы, необходим был ремонт.

Было уже часа четыре пополудни, и мы растерялись. Подтащили кое как машины к церкви и начали освобождать обе поломанные от груза. Несмотря на досаду и беспокойство, работая у самых дверей этого мрачного средневекового храма, мы обратили особое внимание на вычурные, из старой бронзы художественного рисунка огромные завески на этих вратах. Но нужно было действовать. Как ни страшно и больно было оставлять здесь, на окраине, вдали от жилых кварталов, кого-нибудь из нас с вещами, и как ни противоречило это нашему правилу не разлучаться в пути, ничего не оставалось, как оставить здесь жену одну, так как каждый из сломанных велосипедов нужно было тащить в город на руках и разыскивать мастера. Мастерская оказалась далеко, на противоположной окраине города, на краю низменного пустыря. Двери сарая были открыты, и мастер с помощником, смуглым мальчишкой лет восемнадцати, немедленно приступил к работе. Всё шло хорошо, но нас крайне тревожило, что прошло уже более часа, а жена там одна, страдает, волнуется и неизвестно, что с ней. Наконец один из велосипедов был уже починен, и мастер принялся за второй. Я, очень волнуясь, вышел на улицу, чтобы хоть взглянуть в ту сторону, откуда, быть может, уже бежит, нас разыскивая и тоже ужасно волнуясь, жена... и слышу вдруг сзади отчаянный возглас сына:

— Папа!.. украли велосипед!..

Бегу к нему — оказывается пропал уже починенный велосипед, а мастер молчит, отказывается объяснить, в чем дело, куда исчез его помощник, который, очевидно, украл велосипед. Второй велосипед был уже готов, и сын потребовал, угрожая обратиться к военному коменданту, чтобы мастер дал нам адрес мальчишки. Он жил в уединенном домике на другом конце пустыря. Его, конечно, не было, но мать его не могла ничего возразить против нашего утверждения, что её сын, в присутствии своего хозяина, украл наш велосипед. Положение наше было безвыходно, но сын обратил внимание на висевший тут же на стене велосипед и начал требовать, чтобы она выдала его нам взамен украденного. Она никак не возражала, и нам пришлось удовольствоваться этой дешёвой, непрочной и старой машиной, даже без тормоза.

Измученные, в крайнем волнении, — ведь прошло уже три часа, а жена там одна, — мы опрометью бежали через весь город уже в полной темноте. Она, бедняжка, стояла среди пустой тёмной улицы, высматривая нас. Она всё время утешала себя только тем, что сын пошёл не один, и всё то садилась на ступеньки, то выходила на улицу. Пойди она с нами, — не было бы опасности, которой она подвергалась, оставаясь одна, и конечно, не был бы украден велосипед. Наше правило — не разлучаться в дороге, подтвердилось не в первый раз.

Кое как прикрепили мы опостылевшие корзины с продуктами, которые поневоле приходилось таскать повсюду с собою, и направились к центру города, где узнали, что беженцы останавливаются здесь в помещении местного исторического музея. Это был небольшой двухэтажный дом, окружённый опрятно содержимым молодым парком с посыпанными жёлтым песком дорожками. Наружная дверь вела в узкий коридор, откуда лестница шла на второй этаж, где в двух небольших комнатах были расположены все экспонаты. Между витринами пол весь был устлан толстым слоем соломы, на которой оставались следы уже

многих ночевавших там людей. Не было почти возможности передвигаться по комнатам. Мы отвязали грузы и перетащили их и машины наверх, поскольку наружные двери были настежь открыты, и мы чувствовали себя как на улице. Спать расположились в самом дальнем углу, где не были заметны следы предыдущих ночлежников. Утром позавтракали, сидя на соломе, снесли вниз и долго увязывали вещи. При ярком солнце и лёгком ветерке, прошли мы километров восемь до селения Нёртен, отдохнули и перекусили на опушке неуютного редкого леса с гнилыми пеньками и снова зашагали, надеясь к вечеру достигнуть Геттингена, о близости которого узнали в селе.

Приближаясь перед закатом солнца к Геттингену, мы были разочарованы несколько, когда прямо вблизи шоссе, даже не обсаженного деревьями, как обычно вблизи городов, увидели никак не огороженные, серые, казарменного типа здания Геттингентского университета, очень незначительные по размерам. Позже, когда мы ещё раз посетили этот город, мы подъехали к нему с другой стороны, лесистой и гористой, о осмотрели его старинное университетское здание и весь этот небольшой и очень уютный город, среди лесов и невысоких гор. Но теперь мы думали только об отдыхе. Нам указали адрес отдела местного ен-эс-фау. Это было далеко, и мы пришли туда уже в сумерки. Широкие ворота вели в большой двор перед высоким четырехэтажным зданием, напротив которого под деревьями были скамьи, а входные двери дома то и дело пропускали множество толпящегося народа, снующего взад и вперёд. Нам, с велосипедами и нашими привычками, очень не понравилась вся эта людская каша, и мы не хотели даже туда заглянуть. Посидев немного на скамейке, где подумывали даже остаться ночевать, всё же решили удалиться от этой сутолоки и направились, по знакомой уже дороге, обратно на другой конец города, не зная, зачем мы туда бредём и на что нам надеяться.

Уже почти выйдя за пределы городской окраины, обратили мы внимание на поросший деревьями, тенистый двор,

сводчатый, увитый виноградом вход в который был открыт. Не задумываясь, повернули во двор и спросили у, вышедшей навстречу из кухонной двери, хозяйки позволения переночевать.

— Я спрошу сына... — приветливо отозвалась хозяйка и, минуто спустя, вышла с человеком лет сорока, с виду мастеровым. Он с радушной готовностью и ловкостью стал помогать нам разгружать машины, отвёл их в сарай, запер на замок и помог нам перенести вещи в дом. Затем он повёл нас в комнату справа от прихожей, где стояла кровать, принёс ещё один чистый матрац и положил его рядом с кроватью на лакированный пол, после чего предложил нам умыться и пригласил в столовую на чашку кофе. Там встретила нас у большого стола его мать, и они, перебивая друг друга, стали рассказывать, что война не коснулась их города, живут они хорошо, сын служил на заводе, а теперь работает уже в старой своей мастерской. Они не спрашивали нас ни о чём, они были счастливы по-своему, им хотелось только поделиться с нами удачей, выпавшей на их скромную долю.

В комнате мы разместились очень удобно. Я расположился на матраце, а со стены у дверей смотрели на меня старинные немецкие настенные часы, великолепно сохранившиеся, и я узнал в них двойник часов, которые всегда висели у нас дома в столовой, в дни моего детства, в родном Чернигове. Часы чуть слышно тикали, так живо напоминая и милым далёком прошлым, и мирно спалось нам в эту ночь под чужим, но таким уютным кровом.

На утро предстоял нам последний переход, незначительный уже по расстоянию, но оказавшийся труднейшим, всего километров пятнадцать, до того села, именуемого Дрансфельд, где работала наша Галя, застать которую там мы всё ещё надеялись. Наши хозяева в Геттингене подробно разъяснили, как туда пройти кратчайшим путем, но предупредили, что дорога там неудобная, проходит через горный перевал, а, главное, — там лес дремучий и, по

слухам, там ещё скрываются не сдавшиеся в плен, вооруженные эсэсовцы, голодные и на всё способные.

Первая часть дороги, до подъёма на лесистые горы, была пройдена без особого труда, но часам к четырём, когда осталось ещё пройти километров пять через самый перевал, подъём стал крутым, с обеих сторон подступили склоны с густым тёмным лесом, и шоссе, покрытое в этом месте слоем влажной вязкой глины, намытой из подпочвы дождями, стало почти непроходимым. И мы с крайним напряжением, выбиваясь из сил, тащили в гору тяжелые машины, совершенно одни среди мрачного леса, не забывая предупреждений о возможном нападении вооруженных преступников.

Но последние усилия, и мы уже на перевале. Спуск под гору был крутым, зато глина теперь даже помогала — тормозила бегущие книзу колёса. И вдруг за поворотом открылся пред нами небольшой лесной посёлок. У нас был адрес, нам указали двор, и мы стоим уже перед хозяйкой нашей Гали. Она с первых же слов поняла, что имеет дело с близкими её работницы.

— Вы те родственники, которых всё время ожидала Галина? . . . — спросила она и сообщила, что Галина, к сожалению, уезжает на родину и неделю тому назад ушла от них в Мюнден, в лагерь для остарбайтеров.

Крайне огорчённые, обескураженные, мы просили хозяйку показать комнату Гали. Там стояла большая старая кровать, покрытая серым одеялом, и маленький сундучёк, открыв который хозяйка показала нам её старенькие платья, которые она носила ещё в Киеве, вымытые и выглаженные, и несколько книжек. Хозяйка рассказала, что Галя три дня плакала — всё выжидала нас и не хотела уезжать. Но к ней приходила ежедневно сестра её Луиза, работавшая неподалеку у лесничего, и всё убеждала её, так же как и парни из села, тоже остовцы, уезжать как можно скорее, с первой партией, поскольку, как они слышали, только первая партия возвратившихся на родину будет прощена Сталиным. Она всё не могла принять решение, про-

плакала все три последние дня, повторяла хозяйка, и нам казалось, что вся эта убогая комнатка орошена её слезами. Вся семья очень любила её, она была замечательная работница, и они даже хотели, добавила хозяйка, женить на ней своего сына, который приезжал в отпуск. Мы давно знали, что Галя очень тяжело работала у них, — из её писем к сыну ещё в Восточную Пруссию. Она таскала из колодца ежедневно тридцать ведер воды и чистила хлев и конюшню. Нам понадобилась вода, и сын взял её ведро. Оно было так велико, а колодец — так глубокий, что у сына едва хватило сил вытянуть только одно ведро.

Вошёл хозяин, худощавый и суровый с виду. Он также хвалил Галю как работницу и очень сожалел, что мы приехали так поздно. Была суббота, а она выехала в последнее воскресенье. Был уже поздний вечер, хозяева сварили для нас макарон в молоке и устроили нам постели — всем троим на галиной широкой кровати. Грустно было спать в её бедной комнатке. И всю ночь мешал нам стук лошадиных копыт в тонкую стену, отделявшую комнату от конюшни.

Рано утром, попрощавшись с хозяевами Гали и заглянув ещё раз в её комнатку, мы шли уже дальше по шоссе, к городу Ганновер-Мюндену, чтобы узнать ещё что-нибудь о судьбе Гали и разыскать семью профессора, который, ещё в 1942-м году, вывез Галю из Киева, против её воли. Она перешла на работу к бауэру, когда в городе начался голод, и семье профессора нечем было её кормить.

Дорога вела вниз к долине реки Верры, на которой расположен этот небольшой город, полный особого очарования, по своему местоположению и по сохранившимся памятникам средневековой архитектуры жилых домов. Около полудня мы были уже на окраине города, перешли мост над бешено бурлящей Фульдой, тут же впадающей в Верру, и добрались, наконец, до профессорского дома. Встретил нас при входе его десятилетний сын и с радостными возгласами побежал к матери, которая нас очень радушно приветствовала. Мальчик повёл нас на мансарду, где в

маленькой, но уютной комнате Гали еще оставалась даже её постель. Фрау профессор видела Галю неделю назад, перед её отъездом в репатриационный лагерь, в Кассель. Она могла только нам указать, что и в Мюндене имеется такой лагерь, где мы сможем узнать о судьбе нашей племянницы. Всё это нам очень не понравилось, и было бы большой неосторожностью пойти в такой лагерь, но другого выхода не было. Лагерь оказался вблизи дома профессора. У ворот лагеря стоял дежурный из остовцев. В конторе нас встретил также остовец, но теперь это был уже типичный советчик с неприятной наглой рожей. — Кто вы? — спрашивает — Почему не приписываетесь к лагерю, не присоединяетесь к выезжающим на родину?

Но жена сразу же нашлась, что ему сказать: — Мы ищем племянницу, чтобы всем уже вместе с ней выехать на родину.

Это успокоило бдительность новоиспеченного советчика, и мы поспешно удалились, получив от него указания, что Галю надлежит искать в лагере Касселя.

При выходе у самых ворот столкнулась с нами, и даже вскрикнула от изумления, жена профессора З., с семьёй которого мы расстались еще осенью 1943 года в Познани, когда семья наша была неожиданно вызвана в Восточную Пруссию. Семья профессора З., как и большинство семейств научных работников в познанском лагере, была переведена в лагерь Кутно, под Варшавой, откуда, с приближением фронта, часть семейств смогла постепенно эвакуироваться по железной дороге в Познань, а оставшим была предоставлена возможность воспользоваться для эвакуации всеми имевшимися в лагере лошадьми и повозками, которые вообще поступали в их полное распоряжение. Таким способом и попала семья профессора З. в Ганновер-Мюнден, куда его привлекала некоторая возможность заняться научной работой в лаборатории одного профессора ботаники в близлежащем Геттингентском университете.

А между тем госпожа З. уже вела нас к себе, не посетив даже, на этот раз, того самого лагеря, откуда мы

выходили, и где она, к нашему удивлению, хотела обменять какую-то вещь на продукты — единственной способ пропитания семьи З. Она спешила сообщить мужу поразительную новость о встрече с нами. Она хотела также познакомиться с семьёй другого научного работника, проживавшего в Мюндене, доцента П-нова. Сначала же она повела нас в свою квартиру.

В целом Мюндене был единственный только дом, пострадавший, и то слегка, от авиабомб и с тех пор нежилой. Там и заняла семья З. одну маленькую комнату в наиболее разрушенной части дома, для пушей маскировки, в случае, если их станут разыскивать советчики. Ход к ним шёл по разбитой лестнице, а в стене над дверью в самую комнату зияла большая дыра. В целости сохранившийся фасад этого дома, деревянного, двухэтажного, был замечателен средневековым характером архитектуры и раскраски и особенно тем, что на стене был вырезан крупными цифрами год 1428-й.

В крошечной комнате, где была только одна постель просто на полу, мы застали профессора с сыном, лет девяти. Были они поражены нашим появлением. Они показали свой маленький ручной возок, на котором могли уместить весь свой багаж, состоявший больше из книг. Возок был спрятан в углу под лестницей. После этого они повели нас к семье П-новых. Они не придерживались такой маскировки, как семья З., и занимали комнату в первом этаже большого дома на главной улице города. Мы застали его за упражнениями в английском языке. Жены его не было, она ушла за продуктами в тот же лагерь, где мы побывали утром и так переволновались. Результаты такой неосторожности сказались очень скоро и — на наших глазах.

Доцент П-нов начал с того, что в одном английском журнале Сталин назван красным Гитлером. И это нас очень приободрило. Он сказал также, что в соседнем доме занимает квартиру профессор П-лов, с женой и дочерью, и что они проживают в Мюндене уже около трёх месяцев. Всё это показалось нам верхом неосторожности, тем более, что,

как оказывалось, профессор П-лов и его дочь, хорошо владеющая английским, принялись, тотчас же после прибытия в город английского коменданта, почти ежедневно посещать его офис и часами там просиживать, упрямо пытаюсь разъяснить этому представителю оккупационного командования всю, создавшуюся после окончания войны с Германией международную обстановку, особенно же — в связи с кошмарной ролью Сталина в Ялтинском соглашении; упрямо пытаюсь убедить коменданта, что союзники Запада, исключительно только по причине своей ошибочной оценки положения, отдают теперь в руки Сталина тех политических эмигрантов, которые были советскими подданными.

Ничего лучшего не мог бы говорить, в тот момент, никто по адресу союзников, но приставать с такими рассуждениями к английскому коменданту было крайне неуместно со стороны профессора, так как только целый ряд последовавших, в течение нескольких лет, грозных событий смог подготовить почву для восприятия политическими деятелями Запада упомянутых, кажущихся теперь азбучными, истин.

Все эти крайние несообразности, неожиданные встречи и водоворот таких новых, волнующих впечатлений, — всё это ставило нас в очень затруднительное положение, вызывая естественные опасения, что дальнейшее пребывание в Мюндене может быть чревато для нас гибельными последствиями. Всего лучше было бы в тот же день нагрузить наши машины и бежать отсюда, но всё та же навязчивая идея — удержать от репатриации нашу Галю, не давала нам права решиться на этот шаг.

Мы распрощались, наконец, со всеми старыми и новыми знакомыми и отправились передохнуть и подкрепиться в тот спокойный и благоустроенный дом фрау профессор, где мы оставили свои вещи и теперь хотели там переночевать. Она уже приготовила обед из оставленных нами продуктов, часть которых мы уступили ей, в благодарность за радушный приём. Для нас самым удобным было бы остаться в этом уединённом немецком доме до самого выезда. Но отдалённость от вокзала и близость советского лагеря

делали это небезопасным, и нам пришло в голову попытаться занять номер в отеле на главной улице, единственном в городе и, по словам жены профессора З., совершенно необитаемом и крайне устарелом и запущенном, но расположенном почти напротив от квартиры доцента П-нова и профессора П-лова, что давало возможность следить за дальнейшим ходом событий. Мы опасались, однако, что в отеле потребуется прописка, а это было бы крайне рискованно. Всё же, скрепя сердце, мы направились в полицию.

За единственным, простым, некрашенным и ничем не покрытым, столом сидел очень плотный, видимо уже несколько откормившийся на союзных хлебах, блондин в сером костюме. На наш робкий вопрос о возможности получить прописку, он отрывисто брякнул, с видимым пренебрежением:

— Вы должны идти в казармы!

Опасаясь уже, что он тотчас же велит нас тут-же схватить, мы поспешно ретировались и, придя в себя, попытались обратиться прямо к хозяину отеля. Он оказался таким же дряхлым и устарелым, как и его заведение, не требовал никакой прописки и разрешил безвозмездно занять любой номер, попросил только уведомить его при оставлении нами отеля и предложил бесплатно пользоваться горячей водой в кухне. Все номера были необитаемы, двери стояли настежь, всё было оставлено на произвол судьбы, как и весь этот совершенно обезлюдевший город, обитатели которого разбрелись, очевидно, по фермам, спасаясь от голода. Мы заняли большой номер с окнами на улицу и передней комнатой, где поставили велосипеды. Чтобы отель казался необитаемым, решили не пользоваться освещением. На кроватях, гардинах — всюду лежал толстый слой пыли, и мы остерегались даже прилечь без верхней одежды.

И, как только мы, подавленные обстановкой, а главное, — бесполезностью дальнейшей задержки в этом городе, расположились передохнуть среди этого запустения, вошёл неожиданно профессор З., догадавшийся, что мы остановились в отеле. Он, с первых же слов, стал уверять, что пока

ещё нет в городе для нас опасности, и он хочет, чтобы мы оставались и выждали некоторое время, пока ему посчастливится отобрать свою пару лошадей и повозку, сданные им в аренду местному извозчику по договору, срок которого ещё не истёк. Немец упирается, и Э. хочет, чтобы сын наш немедленно пошёл с ним к извозчику для переговоров, и затем, чтобы сын, во время нашего путешествия с семьёй Э. на лошадях, помогал бы в деле ухода за ними. Мы возражали, поскольку задерживаться на неопределённое время в этом городе казалось нам очень рискованным. Но он так убеждал нас, так настаивал, что сын всё же согласился сопровождать его к извозчику на другой конец города. Там они очень долго, без конца упрашивали немца, а мы сидели в соседней комнате как на иголках. Немец всё же отказался возвратить лошадей раньше чем через неделю, и профессор Э. стал снова убеждать нас оставаться и спокойно выждать этих лошадей. Однако мы и без того должны были ещё немного задержаться в Мюндене в поисках нашей Гали в лагере Касселя, а пока-что нам казалось ещё не лишним позондировать почву, осторожно осведомившись у коменданта о возможности задержать Галю, чтобы она смогла выехать позже, с нашей семьёй, как мы уже наврали об этом советчику в лагере.

Комендатура помещалась в небольшом одноэтажном особняке среди парка. Войдя, мы увидели там профессора П-лова, который стоял у стола и убеждал коментданта, а дочь профессора, красивая девушка с тёмными волосами и чистым бледным лицом, служила ему переводчицей. Тут наш взгляд упал через раскрытую дверь на знакомую уже нам рожу в соседней комнате, пристально нас рассматривающую. То был новоиспеченный советчик, так нагло допрашивавший нас в лагере, и мы, отвернувшись и пятясь, сначала как бы ленивой походкой, а затем — пободрее, оставили этот небезопасный для нас особняк и, от нечего делать больше, решили пойти в соседний с парком лес на горе и посмотреть там какую то башню, возвышающуюся над городом. Высота её была не более десяти метров, а её кладка

и материал свидетельствовали о том, что руина эта поддельная. Мы поднялись на первую площадку, а сын даже и на вторую, и полюбовались городом и речной долиной. Оттуда мы направились к П-новым, но их комната была на замке, а встреченный нами профессор З. не скрыл, что они опасаются уже ареста и предпочитают проводить время на берегу реки под липами, куда профессор и предложил нас проводить. Это был живописный бульвар вдоль скалистого берега быстро текущих бурных вод горной реки. На том берегу темнел лес по крутому склону, а на этом проходила вековая липовая аллея и в конце её, слева, уютно стояла массивная скамья под великолепной группой столетних лип. Там и сидела семья П-новых. Они шёпотом пояснили, что не решаются теперь даже заглянуть домой и хотели бы забрать оттуда поскорее вещи, а после они будут скрываться в лесу, в доме лесничего, их приятеля.

При таком положении дел, мы с очень уже стеснённым сердцем отправились ночевать в наш грязный неудобный номер. Рядом с нами остановился этим утром какой-то одинокий латвиец. Он был совершенно спокоен, хорошо зная конечно, что ялтинское соглашение не касается латвийских подданных. Войдя к нам в номер, он только заметил:

— Все мы куда-то едем...

Была в нашем отеле одна особенность, которая подчёркивала его древность. Чёрный ход из него выходил не во двор, а в очень длинный узкий проход, какой-то внутренний извилистый проулок или коридор без крыши, проходящий внутри здания отеля и выходящий в широкий проулок, где безводный старинный фонтан, с позеленевшим бронзовым ангелом был осенён столетними развесистыми платанами, и где был уже прямой выход на улицу. Эта особенность казалась нам полезной на случай, если понадобится незаметно ускользнуть из отеля. Мы всего опасались уже, но неизбежной казалась нам ещё поездка в Кассель, и на следующее утро мы уже ехали туда по железной дороге, причём поезд с большими предосторожностями проходил по временному очень длинному мосту через долину Фульды,

построенному только из вертикально поставленных длинных сосновых брёвен. Мы были единственными пассажирами, вагоны товарные, двери широко раскрыты. В Касселе мы заметили на вокзале группу русских парней, видимо — остовцев, и сын спросил у старшего, средних лет рабочего с бородкой, где здесь находится лагерь, откуда вывозят репатрируемых.

— Это очень далеко отсюда, — возразил рабочий, да и вообще, я советую вам, туда не ходите.

— Не встречали-ли вы, — спросил сын, — в Мюндене одну нашу девушку, Галину В-скую ?

— Как же, я хорошо её знаю . . . Но она уже в прошлое воскресенье уехала с первой партией возвращающихся на родину ! . .

В то самое воскресенье, утром, мы с великой грустью прощались на ферме с её убогой комнаткой.

Было невыносимо сознание, что мы уже навсегда потеряли эту дорогую нам девушку. И мы казнили себя за все те, часто ненужные, задержки в нашем незадачливом походе. Но непоправимо было уже то, что случилось, и нам оставалось только возвратиться в Мюнден.

На другой день, в Мюндене, мы провели время в каком-то томительном предчувствии недоброго. Усталые, голодные, забылись мы, уже к полуночи, первым сном, но были разбужены душераздирающими женскими криками и визгом, доносившимися от квартиры профессора П-лова, неподалеку напротив. Было ясно, что, как и следовало ожидать, происходил уже арест семьи профессора, с наглым физическим насилием и, видимо, при участии английского коменданта. Нечего было и думать нам о сне в эту ночь, а в пятом часу утра появился у нас в первой комнате и молча застыл в просвете дверей весь бледный, осунувшийся профессор З.

— Вы слышали крики ? . . — спросили мы, — знаете, что было ночью у профессора П-лова ? . .

— Я ничего не знаю и не слыхал об этом, — отвечал профессор З., — но считаю, что нам следует уезжать поскорее, и хочу, чтобы ваш сын сейчас же пошёл со мной к извозчику за лошадьми.

— Ну нет!.. Ни в коем случае!.. — воскликнули мы хором, и он отправился к извозчику один.

Мы же, сообщив хозяину отеля о своём выезде, принялись поспешно таскать вещи в наш внутренний извилистый проулок-коридор и там же увязывать их на велосипедах, опасаясь появления советчиков, страшно переживая эти решительные минуты. Но вот мы уже проходим этот углами изгибающийся коридор и быстро шагаем по абсолютно безлюдным улицам. Становится легче. Уже мы вне города и подходим к вокзалу. Вот мы вступаем на площадь перед станцией, осенённую большими деревьями, и у самой стенки небольшой и крайне неопрятной туалетной кабинки видим ручную возок, доверху нагруженный вещами. И стоят у возка двое: жена профессора З. и его мальчик.

— Слышали вы, что было ночью?.. — вскричала она, с так присущей ей непосредственностью, — арестовали и вывезли семью профессора П-лова!.. Искали Па-новых, но их не было... Явились к нам в час ночи!.. Я стала по-польски убеждать их, что мы — поляки... и нам удалось их обмануть!..

— Но где же ваш муж?

Он пошел к извозчику за лошадьми, мы ожидаем его... Мы хотим ночевать там, в пакгаузе... — и она указала на стоящий в отдалении сарай с какими то досками.

— Ну, значит, теперь прощайте, мы уходим!.. — разили мы и направили поспешные шаги в тут же начинающуюся аллею из тенистых деревьев — шоссе, ведущее на юг, — прочь от этого города, который угрожал нам новыми испытаниями. Довольно скоро открылась перед нами широкая равнина и как на ладони предстал в отдалении город Кассель. И стало так отрадно на душе, что копошащимся там в своём лагере советчикам уже не добраться до нас.

XIV

Было чудесное летнее утро 27-го июня. И хотя мы не спали всю ночь, а утром и подумать не могли о завтраке, не приходило и в голову сделать остановку. Какой то бодрящий нервный подъём не позволил нам чувствовать ни голода, ни усталости. Мы шли уже неспеша, время проходило незаметно, и отрадное чувство освобождения от всех этих сложных, мучительных переживаний последней недели не угасало. Но вот уже солнце стало клониться к закату, и мы вошли в какое то село. Видим — спешит по улице, на фоне вечерней зари, оживлённая, чисто одетая по-своему украинская селянка:

— Добрый вечер!.. — приветствует нас она, — я видразу пизнала наших!.. Эвидкиля вы?..

— Ах!.. Вы наша!.. — радостно отвечали мы, добрый вечер!.. А скажите, как тут у вас?.. Забирают ли тут оstarбайтеров в лагерь?.. Вывозят насильно на родину?..

— Ничого такого тут у нас нэ було й нэчутно!.. Тут у нас амэрыканци, амэрыканська зона... Мы з сэстрою як працювали в бауэриw, так и доси процюємо. Нам и тут добра, яка там батькиwщина!..

— А где здесь бургомистр?.. — спросил сын, и она указала на дом по ту сторону площади. И сын, впервые за время наших ночёвок, обратился к официальному лицу, и так неуверенно звучал его голос: — Можно здесь переночевать?

— Конечно! — ответил тот и стал писать адрес очередного бауэра. Там дали нам место в большой клуне, где был навален слой мятой соломы, на которой трудно было найти уголок, где бы не были отпечатаны фигуры предыдущих ночлежников. Изнурённые голодом и продолжительной

ходьбой, мы всё же долго выбирали свежее место. Больше всех устала жена, она почувствовала сильное сердцебиение и мы очень боялись за её здоровье. Когда ей стало лучше, мы открыли банку консервов и кое-как поужинали. Тяжёлый спешный переход давал себя знать, хотя все страхи, пережитые в английской зоне, были уже позади и, возможно, были нами преувеличены. Ночуя в этой клуне, мы уже пожалели, что проявили излишнюю нервозность и не послушались настоятельного совета профессора Э. остаться в Мюндене хотя бы на несколько часов, пока он успел бы отобрать лошадей у извозчика. Мы лишили себя не только сравнительно удобного и скорого способа передвижения, но и возможности путешествовать в обществе наших хороших знакомых, а главное — людей с большим уже опытом — они проделали на этой подводе весь путь от Варшавы до Мюндена, через всю Германню. Им удалось, как мы узнали позже, отобрать своих лошадей у извозчика в тот же день, когда мы рано утром бежали из Мюндена, и всё их путешествие до одного городка, в пятнадцать километрах от самого Гейдельберга, продолжалось около двух недель. Мы же, странствуя, большей частью, пешком, с риском для здоровья, с тяжелой поклажей и в жутком одиночестве среди незнакомой страны, пространствовали таким образом до самой осени и наше запоздание с прибытием в Гейдельберг стоило нам целого ряда непредвиденных и трудно преодолимых осложнений.

Начиная со следующего дня, предстояло нам двигаться по совершенно безлюдному автобану. Редко можно было заметить где то вдали какую то ферму, не проезжал ни один автомобиль и жутко становилось, когда приближался вечер среди этого полного одиночества. Но как то всегда выходило, что к вечеру или раньше мы встречали всё же какой нибудь посёлок. По дороге мы однажды встретили группу бывших остовцев — пожилого и двух молодых — все легко одетые без пальто и вещей. Они, видимо, тайком оставили работу у бауэров, в страхе принудительной репатриации. Очевидно было беспокойно и в американской зоне,

и это нас снова очень встревожило. — Что нам делать, куда деваться, куда идти ? . . — спрашивали нас они. Но мы не знали, что можно было бы посоветовать им.

В одном селе нам очень повезло с ночлегом и отдыхом. Мы попали туда задолго до вечера и сразу же заметили чистенький домик с цементным полуподвалом и немедленно решили там постучаться. Встретила нас среднего возраста, приятная с виду хозяйка, одиноко обитающая в своем доме и, подобно той любезной старушке, у которой мы гостили в Ганновере, и эта обрадовалась нам как родным. Она открыла солидную дверь подвала и сама поставила там наши велосипеды вместе с привязанным к ним багажом, закрыла изнутри дверь на засов и повела нас по внутренней лестнице наверх, где приготовила отличную комнату с окном на улицу, тремя кроватями, столом и стульями, дала нам умывальник и пригласила поужинать с ней, при чём занимала нас разговором о путешествиях, обнаружив хорошее знакомство с географией. Мы прекрасно отдохнули у неё на чистых постелях, в полной тишине и покое, тем более, что никто кроме неё в селе не знал о нашем появлении здесь, и только на третий день мы отправились дальше.

XV

В это время мы находились уже в бывшем герцогстве Гессен, характерным для которого является, между прочим, архитектура домов с остроконечными готическими крышами, верхним этажем много шире нижнего и характерным переплётком коричневых балок на желтой фронтовой стене. В одном из таких домиков нас поместил однажды бургомистр, при чем заявил однако, что сын должен пойти ужинать в другой двор, что было очень неприятно. Зато его там отлично угостили яичницей и свежим творогом с зеленым луком. Никакой платы за это не полагалось, и порядок в этом отношении был повсюду отлично организован. На другой день мы пришли, часа в три, в большое село, в центре которого стоял небольшой средневековый замок, хорошо сохранившийся, в который и направили нас. После мы узнали, что это была бывшая резиденция великой герцогини Гессенской, дочери Людвига I, которая стала супругой Императора Николая II, Александрой Федоровной. Ступени лестниц, высеченные из красного песчаника, были так стертые от многовекового топтания, что по ним было трудно ходить. Таковы же были и полы, за исключением довольно большого зала, предназначенного беженцам, с огромными готическими окнами, великолепно отделанного по стенам и и потолку панелью старого дуба, с превосходно выточенными скамьями в широких оконных нишах. В конце зала было нечто на манер эстрады, отделенной от зала точеными столбиками. Почти весь зал был завален грязной мятой соломой, и мы решили устроиться на эстраде, где заметили широкие щиты из досок и обрезки брёвен. Из всего этого составили подобие кроватей и отправились в село, где купили у фермера несколько вязок ржаной соломы. Направил нас в замок на ночёвку бургомистр, который, проведая, что

сын берется рисовать портреты, настолько был заинтересован, что предложил нам двойные продовольственные карточки. Домом своим он очень гордился. Весь фасад был украшен затейливыми красочными орнаментами и целыми букетами цветов. На площади против нашего замка была продовольственная лавка, но варить пищу было негде и приходилось раскладывать костёр в огромном камине. Было крайне неуютно и тоскливо, среди ночи нас разбудили крики и площадная ругань целой толпы немецких беженцев, разместившихся на соломе, а утром, когда немцев уже не было, вошла вдруг в зал странная группа людей, полуодетых, без вещей, двое мужчин в одном нижнем белье и женщина с ребёнком на руках, в одной только вышитой украинской сорочке, без платья и босая. Они бежали из лагеря, куда советчики уже собирали всех бывших остовцев, работавших у фермеров. Мы не знали, что можно было бы посоветовать им, и они пошли дальше, понимая, что этот замок не может быть убежищем для них. Было, видимо, небезопасно и в американской зоне, и мы решили двигаться поскорее, как только сын нарисует портрет бургомистру.

На третий день мы встали на рассвете и без усталости, не останавливаясь, шагали целый день. Перед заходом солнца подошли к небольшому селению. Бургомистра там не полагалось, и на все просьбы принять на почёвку мы получили отказ. Растерянные, мы шли всё дальше вдоль улицы, где усадьбы располагались только слева, и нас обогнал на телеге фермер, с дойной коровой вместо лошади, и въехал в открытые ворота. Мы — к нему, и с большим радушием он предложил остановиться у него. Вышла хозяйка и пригласила нас в свою маленькую кухню, предложила умыться, усадила на скамьях у своего скромного стола и угостила нас, с утра ничего не евших и не пивших, великолепным пахтаньем от только что сбитого масла, холодным и до того вкусным и освежающим, что мы почувствовали себя, как говорится, на седьмом небе. Она изжарила нам яичницу и нарезала свежего ржаного хлеба. Пока мы ужинали таким

образом, хозяин отсутствовал. Оказалось, он устраивал для нас постели из свежего сена на чердаке в сарае, и у него явилось затруднение с проводкой на чердак электричества. Провод был неисправный, и как он ни проверял его, лампа не загоралась. Так прошло минут сорок. Он нашёл наконец новый провод и всё было в порядке. Мы поблагодарили от всего сердца и его и хозяйку, и она возразила: — Я пожалела вашего сына, а другая мать накормит и пожалеет моего... — Оставив рано утром их гостеприимный кров, мы направились к Фридбергу, что был уже неподалеку, и, пройдя не более пяти-шести километров, подошли к большому селу, местоположение которого нам очень понравилось. Протекала речка, было много садов и широкие луга вокруг в речной долине.

XVI

Обратились к бургомистру, который, прослышав, что сын рисует портреты, не только решил выдать нам двойные продовольственные карточки, но проявил такую заинтересованность, что постарался задержать нас в своём селе возможно подольше, чтобы получить портреты всех членов своей семьи, и предложил нам остановиться в том же доме, где, в первом этаже, была его контора, а на втором — квартира учительницы одноклассной детской школы, класс которой и был предоставлен нам на неопределённое время. В большой комнате все миниатюрные парты были сложены в углу, был письменный стол, несколько длинных низеньких столов и один высокий, были стулья, а в углу стояла отличная кровать с чистым матрацом, и возле, на полу, — еще два новых матраца в чехлах. Всё это располагало оставаться здесь по возможности дольше и хорошенько отдохнуть. К тому ж бургомистр устроил нам возможность варить обед в кухне сельского клуба напротив школы. В клубном зале, походившем скорее на большой сарай, стояло на подмостках пианино, и сын проводил там свободное время за своими импровизациями. Освоившись на месте, мы стали обозревать окрестности. Кроме небольшой речки был еще ручей, на берегу которого среди деревьев мы увидели, медленно вращающееся, под немолчный рокот стекающей с него воды, огромное, метров пяти диаметром, водяное колесо, за которым виднелась почерневшая от времени небольшая будка. Массивный блестящий стальной шатун водяного колеса приводил в движение какое то длинное бревно, лежащее на двухколесной тележке. Мы пошли вдоль бревна и увидели, что оно прочно скреплено с другим таким же, и под местом скрепления ходит взад и вперед такая же двухколесная тележка на дубовых рельсах — фут вперед, фут назад, — мы

отошли уже далеко от большого колеса, оно исчезло из виду, а бревно всё двигалось туда и сюда, казалось — само собою, как живое бесконечное чудовище, и только минут через десять мы впереди заметили насыпь, по которой проходило шоссе в близлежащий большой курорт, Бад Наугейм. Бревно подходило к самой насыпи и скрывалось от взоров в узком туннеле, продолжая свое движение. И только подойдя к шоссе мы поняли, в чем дело, когда увидели возвышающиеся по ту сторону высокие градирни, служащие для повышения концентрации солей, содержащихся в воде минеральных источников. Насосы, которыми минеральная вода поднималась на высоту градирни, приводились в действие силой этого непрерывного движения заинтересовавшего нас составного бревна.

Тропинка наша уходила в туннель, откуда мы попали на окраину Наугейма, курортные постройки которого уже виднелись вблизи. Добравшись до центра, мы вышли на площадь, половина которой была занята парком. Вдоль деревьев стояли скамьи, и мы уселись рядом с прилично одетым господином, который, минуто спустя, обратился к нам на украинском языке и сообщил тревожную весть, что в Маннгейме, поблизости от Гейдельберга, который был целью всего нашего путешествия, в большом лагере для перемещённых лиц появилась советская репатриационная комиссия, сторону которой приняло американское командование. Военная полиция поддерживала советчиков, и произошли кровавые столкновения с обитателями лагеря, закончившиеся отступлением американской полиции, недостаточно активно выступавшей против беженцев. Он пригласил нас в свою маленькую комнату в доме тут же на площади. Занимался он здесь, как он выразился, « урядуваниям ». Его роль состояла, однако, только в скромной работе по выдаче перемещённым лицам сомнительных документов на бланках какого то украинского комитета, удостоверяющих, что данное лицо проживало до первого сентября 1939 года на территории Польши. Он не предлагал нам получить такие документы, сам выражая опасение, что они теряют всякое

значение при такой поддержке советчиков союзными властями, какая имела место в Маннгейме. Он сказал также, что в городе Гиссен, в двух часах езды от Фридберга, работает Украинский комитет, выдающий перемещенным лицам вполне надёжные документы, удовлетворяющие всем требованиям момента. Посетили мы тремя днями позднее этого украинца вторично и застали его уже полным бодрости и энергии. — По достоверным сведениям, — заявил он, — американское командование в Маннгейме всецело перешло на сторону перемещенных лиц, и о дальнейшем сотрудничестве их с советчиками не может быть и речи... Теперь можно снова начинать выдавать документы, — с довольным видом закончил он. Но мы решили, что всё же надёжнее будет получить такие документы в Украинском комитете и поехали в Гиссен на следующий день.

Рано утром мы направились к вокзалу в город Фридберг, в двух километрах от нашего села. Выйдя на шоссе, мы вскоре углубились в аллею из покрытых плодами яблонь, а минут через двадцать перед нами, как из-под-земли, выросли справа высокие конические крыши башен широко раскинувшегося в долине средневекового замка, в котором, как мы узнали позднее, помещались все городские учреждения. Любуясь замком, мы не заметили как подошли к городу и вскоре попали на широкую главную улицу, в конце которой возвышались башни замка. Дорога к вокзалу шла в противоположную сторону. Мы явились за десять минут до отхода поезда. В вагонах — теснота, духота, всю дорогу простояли. Гиссен известен старой агрономической школой, профессор которой, Гельригель, был автором классических работ о значении клубеньков на корнях бобовых растений. Почти весь город лежал в развалинах, что казалось нам, уже по привычке, вполне нормальным. Но мы невольно всё искали — хотели увидеть тот дом, где работал известный нам учёный. И на перекрестке, среди сплошных руин, увидели мы единственный уцелевший старый кирпичный домик, в нише на стене которого позеленевшая бронзовая

доска гласила, что в этом доме сделал Гельригель своё замечательное открытие.

Продолжая шагать среди всего этого хаоса как у себя дома, сын подвёл нас к полуразрушенному зданию какой то школы, где, в уцелевших комнатах, нашли себе пристанище представители Украинского комитета, раздобывшие старые железные кровати и собравшие кое-какую школьную мебель. Пока были налицо только два человека, и один из них, уполномоченный, был болен и никого не принимал. Мы всё же заполнили подробные анкеты, что само по себе было крайне неприятно: мы отдавали себя в руки неизвестных нам лиц, сообщая все данные о себе. В коридоре встретили парней из остовцев. Они явились сюда за теми же документами. Не добившись ничего, возвратились мы очень раздосадованные и даже плохо спали ночь, крайне сожалея, что поступили неосторожно, заполнив анкеты. Так прошла неделя, и мы снова поехали в Гиссен и снова — безрезультатно. Старый голова комитета был еще болен и лежал в грязной комнате с разбитыми окнами, а новый ожидался из Швейцарии не раньше как через неделю.

Чтобы развлечься немного и рассеять свои опасения, затеяли мы поездку в Франкфурт, с целью, ни больше ни меньше, как позондировать почву о возможности эмигрировать в Соединённые Штаты. От Фридберга это было около часу дороги. Франкфурт лежал большей частью в развалинах, особенно его, когда то очень богатые, торговые кварталы. Сын ориентировался с удивительной уверенностью, и мы вскоре вышли на просторы чистых, нетронутых кварталов и площадей и подошли к большому новому зданию, как раз именно и занятому под главную квартиру американского Военного Командования. В коридорах нижнего этажа были открыты окошечки для справок. На вопрос, когда мы сможем эмигрировать в Америку, дежурный офицер кратко и определённо ответил: — Не раньше, как через два или три года. — И мы, сконфуженные, удалились, понимая, что пока надо приспособляться к жизни в Германии.

Оставалось еще время, и желая поразвлечься после но-

вой неудачи, решили мы посетить местный зоологический сад. Это было довольно солидное учреждение, но многие из клеток пустовали. Подошли к обезьянам и остановились у большой угловой клетки с парой крупных оранг-утангов. Сторож появился в этот момент, неся миску с молоком, и остановился перед окошечком. Самец оранг еще издали заметил человека и тотчас же стал свирепо оглядываться на свою подругу и яростно сотрясать задрожавшую клетку, при мысли, очевидно, что молоко может достаться ей. Он грозил ей кулаками, оскаливал зубы, свирепо и неистово трясся всем телом, выпячивая могучую грудь, ежесекундно подпрыгивая и с дикой силой ударяя себя в грудь сразу обоими кулаками в такт свирепых прыжков на месте. И загнав самку в дальний угол, он выхватил миску из рук сторожа, не пролив однако ни капли молока и крепко стиснув миску руками, сделал сладкую мину, вытянул губы в трубку и стал деликатно, по маленькому глоточку пить молоко, пока не вылизал дно миски. Сторожу оставалось только заманить злобного самца в другое отделение клетки и захлопнуть дверь. После этого, он принёс мисочку и его подруге, которая, в страхе, оглядываясь и дрожа, глотала молоко под неистовые жесты и прыжки своего эгоистического властелина. Мы отправились домой, очень довольные, на этот раз, посещением зоологического парка.

Но вот пришло, наконец, время снова отправляться, уже в третий раз, в Гиссен за украинскими документами. Снова мы в полуразрушенном школьном здании, но в этот раз был уже там некоторый порядок и стояла уже очередь за документами. Выдавал их прибывший из Швейцарии член Украинского комитета, средних лет человек в сером, очень нстрёпанном костюме. На больших, желтого цвета, типографским способом отпечатанных бланках, он от руки писал данные каждого лица, подписывался и прикладывал круглую печать Комитета. Всё было как будто солидно и внушало доверие. Но когда он, с каким-то особым смаком выписывая на бланках заветное слово «штатенлос», хитро улыбался при этом и даже высовывал язык, и всякий раз

присовокуплял крайне иронически: — Вот это же оно и есть — это самое « штатэнлос ! » — мы упали духом. Ведь он не хотел даже скрывать ни своего иронического отношения к выдаваемым документам, ни своего удовольствия получить за каждую такую бумажку двадцать пять марок.

Подавленные, разочарованные ехали мы домой с документами в кармане. Однако же, хотя мы слышали позднее, что такие бумаги не следует даже никому предъявлять, во избежание больших осложнений, — эти самые удостоверения послужили нам на пользу при получении немецких паспортов в Гейдельберге. Мы не пожелали предъявлять в паспортном столе наши фреmdенпассы, где стояло « СССР », которое перешло бы и в новый паспорт. Мы пошли на другой риск и показали свои удостоверения от Украинского комитета. И опытный немецкий полицейский чиновник, ни слова не проронив, переписал в наши новые немецкие паспорта то самое слово « штатэнлос », которое так и осталось за нами.

XVII

Начиналась уже вторая половина сентября, когда пришло, наконец, время подумать об отъезде. Мы прожили в школе уже более двух месяцев, портреты для бургомистра были уже давно написаны, и он, хотя и молчал, но поглядывал с некоторым недоумением, опасаясь, видимо, что мы засядем у него на зимовку. Но пришёл и день, когда снова взялись мы за велосипеды, и теперь груз на них был уже не тяжёлый, поскольку наши запасы провизии почти истощились. И приходилось нам с этого времени уже часто испытывать голод, так как на получение двойных карточек мы более рассчитывать не могли. Очень уж мы засиделись в Доргейме, и было предчувствие, что такое запоздание вышло нам из села и молча проделали всю дорогу к вокзалу, где, сидя в садике против станции в ожидании поезда на Франкфурт, даже повздорили между собой безо всякого повода. Сели в товарный вагон и час спустя были во Франкфурте, где предстояло идти через весь город на южный вокзал, откуда уже шёл поезд прямо к Гейдельбергу. Все вагоны товарные, пассажиров незаметно. Уселись на своих узлах и тут только начало у нас появляться радостное сознание того, что вот мы уже едем, и прямым путём, к заветной цели всего долгого похода, странствования, с его длительными и не всегда оправданными перерывами. Так проехали всю вторую половину дня, а к ночи поезд остановился, не доезжая пятнадцати километров до Гейдельберга. Всем предложено было очистить вагоны, так как дальше поезд не идёт. Предстояло ночевать на станции, а утром идти пешком, что представлялось нам только интересной прогулкой. Наступило, наконец, утро того дня, когда мы должны были увидеть Гейдельберг, в котором нам суждено

было прожить без малого пять лет. Мы вышли на шоссе, слева от которого возвышались невысокие горы, а часа через три мы уже брели по городским тротуарам.

Было пасмурно, моросил дождь и, проходя мимо какой-то стены из красного песчаника, мы увидели на ней большое объявление, которое гласило, что начиная с 20-го сентября 1945 года, въезд на жительство в Гейдельберг для посторонних лиц запрещён. Было 20-е сентября. Исключения делались только для лиц работающих в городе и учащихся.

Вчера был последний день, когда мы могли ещё прописаться в полицию и устроиться в городе. Ошеломлённые, брели мы по чистым, благоустроенным улицам нетронутого войной города, со своими жалкими велосипедами, не имея права остановиться в гостинице без прописки. Так прошли мы всю главную улицу и углубились в узенькую — налево, Клейнгойзерштрассе, на которую выходил фасад громадного мрачного средневекового собора. Пройдя небольшую площадь за собором, заметили слева вывеску скромного, старинного двухэтажного отеля. Сын зашёл туда и возвратился вскоре очень довольный: владелица отеля, фрау Эггс, разрешает нам остановиться у неё без прописки. Она предложила нам не только занять номер на втором этаже, но и поставить велосипеды со всеми вещами на них в большой светлой комнате первого этажа, где у неё хранилась запасная мебель. Она также разъяснила, со всеми подробностями, где и как следует хлопотать о разрешении на прописку. Номер бы недорогой и по нашему вкусу: скромный, маленький, с умывальником, столом, стульями и чистыми постелями. Одно маленькое окно над крышей во двор — скромно, покойно и не бросается в глаза. В этом номере мы прожили месяц. Через полчаса, когда мы успели уже помыться, фрау Эггс постучалась и предложила нам пообедать в её ресторане внизу. Там уже сидели посетители. Было подано по чашке горохового супу и картофель по карточкам, за которыми приходилось потом ходить ежедневно на другой конец города.

На утро мы встали чуть свет и пошли искать жилищ-

ный отдел, оказавшийся поблизости, в очень стародавнем здании с лабиринтом совершенно неосвещённых внутренних ходов и лестниц, и застали уже духоту и давку в плотно стоявшей за теми же разрешениями толпе. Сын был принят часа через три и получил отказ. На другой день повторилось то же, и так прошло ещё несколько дней. Наконец чиновник, получив от сына пачку папирос, посоветовал ему сперва обратиться к американцам, которые смогли бы его порекомендовать. Но это показалось нам ещё более невыполнимым.

От фрау Эггс сын узнал, что лучший отель «Европа» занят американскими военными, которые смогли бы нам помочь. Вот мы и стали прохаживаться там вокруг да около и даже зашли один раз в широко раскрытые ворота двора перед входом в отель. И, набравшись храбрости, сын подошёл к самому входу в вестибюль и вошёл даже туда вслед за одним военным. Там его встретил портёр отеля, средних лет американец в военной форме, мы же вышли на улицу и поджидали за воротами. Прошло минут пятнадцать, мы стали уже беспокоиться, но вот сын выходит бодрым шагом, оживлённый, и говорит, что портёр этот, по настоящему — значительный нью-йоркский коммерсант, хорошо владеющий немецким языком, и человек очень добродушный и словоохотливый, мистер Горман, берётся достать для сына необходимую рекомендацию. Он записал все данные и предложил сыну справиться о результатах дня через три. Вот мы явились и, проводив сына до самых дверей, удалились за угол и присели на подоконнике пустующего магазина. Сидели полчаса или больше. Вот он идёт уже, но издали заметно, что удачи ему ещё нет. Портёр этот много разговаривал, но обещания не исполнил. Ходили мы таким образом и сидели в трепетном ожидании ещё несколько раз и всё — безрезультатно. Так тянулось это больше двух недель. Хорошо, что фрау Эггс была так добра и не притесняла нас. Но вот, однажды, сын вошёл к мистеру Горману в тот момент, когда он разговаривал с очень солидным с виду военным. Тот спросил, что сыну угодно, и мистер

Горман тут же поведал офицеру всю нашу историю. Офицер пообещал сделать всё, что следовало, и назначил день, когда сын должен был явиться за бумагой.

Бумага была получена, но право на жительство было дано нам только на два месяца, а для постоянного проживания в городе сыну необходимо было получить какую-нибудь работу. Тут снова выручил мистер Горман — устроил его при военном магазине РХ в качестве художника. Он должен был сидеть в магазине и, по заказу посетителей, делать для них эскизные карандашные или угольные портреты. Беда была в том, что в магазин этот заглядывали нередко советские офицеры и — случалось — даже заговаривали с сыном. Мы волновались и постоянно поджидали перед окончанием работы сына у выхода из магазина и, в случае каких-нибудь осложнений, всецело полагались только на помощь того же Гормана. За свою работу сын получал только одну или две пачки сигарет от портрета, что было неплохо: за две таких пачки, подсунутых в подходящий момент в вонунгсамте, сыну выдали ордер на две очень хорошие комнаты с кухней на втором этаже, с видом на площадь, засаженную великолепными розово-цветущими каштанами. В этой квартире мы и прожили до самого отбытия в Соединённые Штаты, в 1950 году.

В городе мы повстречали кое-кого из старых знакомых, с которыми выезжали из Киева в 1943 году. Все они были в Гейдельберг раньше нашего и не испытали при въезде никаких затруднений, а — главное — здесь не было еще случаев принудительной репатриации. Однако, ходили слухи, что уже работают репатриационные комиссии и, что не следует даже говорить по-русски на улицах. Особые тревожения начались, когда осенью 1945 года стало известно новейшее постановление генеральных штабов Америки о безусловной выдаче всех бывших советских подданных. Наша полная беспомощность почувствовалась особенно с того момента, когда единственный наш знакомый среди американцев, мистер Горман, заявил однажды, что его военная служба кончается и он возвращается к себе в Нью Йорк. Правда,

он был так добр, что уезжая поручил сына заботам своего друга, стоявшего во главе одного армейского клуба. Он устроил сына при клубе на тех же условиях, как сын работал до этого при магазине РХ. Но отношения с ним были строго официальные и, в случае каких либо осложнений, нечего было и думать на него рассчитывать.

Получив работу, сын с семьей мог пользоваться американской столовой и, после продолжительной голодовки, мы с облегчением бегали туда три раза в день. Там мы познакомились с очень милой русской барышней, напомнившей чем то нашу Галю, навсегда нами потерянную. Она работала в военном офисе и однажды, сидя в столовой с нами за одним столом, она с глубоким чувством сожаления к нашей семье сообщила, что как раз накануне один офицер рассказал ей о новом постановлении генерального штаба, согласно которому мы безусловно подлежим принудительной репатриации.

Вконец подавленные, приглушенные, без всякой уже надежды вышли мы из столовой и, проходя мимо раскрытых дверей католического собора, вошли туда. И торжественные звуки органа, и спокойные лица молящихся неподвластных восточному тирану людей, а — главное — какое то чувство безопасности, хотя бы на несколько минут, в пределах этого храма, — всё это как то приободрило нас, и даже настолько, что сын вспомнил о предстоящем в этот вечер концерте известного пианиста в конференц-зале университета, — первого в Гейдельберге концерта после окончания войны. И мы, сидя на балконе этого изумительного знаменитого средневекового зала, невольно думали, что в этих стенах не раз бывали и Гёте и Шиллер, и Тургенев, и Бородин, и Менделеев... Так это уже повелось у нас во время скитаний — в трудные минуты, и всегда по инициативе нашего сына, неизменно сохранявшего и спокойную рассудительность и жизнерадостность, мы иногда посещали, казалось бы, нехоти, зоопарки, курорты, отдыхали как бы на дачах, и всё это, в конце концов, очень помогало нам

сохранить жизненные силы и не мешало во-время избегать подстерегающие нас опасности.

Напряжённое положение и полная невыясненность правового положения перемещённых лиц продолжались ещё несколько месяцев. И вот, уже весной 1946 года, мы получили уведомление из ратгауза, что советский репатриационный офицер, прибывший в Гейдельберг, приглашает нашу семью явиться к нему в ратгауз для переговоров по вопросу о возвращении на родину. Мы напугались в первый момент, но самое уже выражение «приглашает» звучало как-то обнадеживающе, и мы решили туда не являться. А после стало известно, что советчик этот имеет только право «угаваривать» и вскоре он покинул город. Это внесло большое успокоение, и мы нашли уже своевременным приписаться к лагерю ди-пи в соседнем Маннгейме, с целью получать продовольствие, не покидая Гейдельберга, где сын, к тому времени, уже приступил к занятиям в университете, продолжая свое биологическое образование, прерванное в начале войны. Прошло четыре года штудирования в гейдельбергском университете, и сын, продолжая свои специальные занятия уже в университетах Соединённых Штатов, стал научным работником в области биологии. И, кто знает, каково было бы его положение в настоящее время, если бы нам не удалось тогда задержаться в Гейдельберге, куда мы так незадачливо стремились в течение четырёх с лишком месяцев после окончания войны и наших трагических переживаний её последних недель.

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ТЯГИ

В июле 1919 года, когда нескончаемые смены власти, сражения, разруха и голод сделали нашу жизнь в большом городе невыносимой, я принужден был оставить работу в университете, и мы с женой выехали в провинцию, где была возможность пережить тяжелое время в семье отца жены, местного врача. Я взял с собой книги и необходимые материалы, но следовало также подумать и о каком то служебном положении. Я направился в местный отдел наркомпроса, где мне предложили уроки физики в трудовой школе, а вскоре за тем я был зачислен преподавателем биологии на высших педагогических курсах, где и проработал до своего возвращения в университет, осенью 1923 года. Я должен был также, и все это без всякого вознаграждения, давать уроки в местной вечерней школе для рабочих табачной фабрики.

Школа помещалась в двух маленьких комнатах какой то хибарки на кривом проулке. В одной комнате был стол и два стула, в другой доска и несколько парт. В учительской меня встретил пожилой господин, заведующий школой учитель арифметики, по фамилии Филин. Седобородый, с бледным сухим лицом, сдержанный, какой то настороженный, в поношенной черной куртке. Он вошел в класс вслед за мной и просидел, внимательно слушая, весь урок, на котором присутствовали только четыре девушки работницы. По окончании урока, он принялся, с некоторым даже раздражением, критиковать мой метод преподавания.

— Почему вы, вместо того, чтобы вкратце охарактеризовать все особенности строения и жизни высших растений в общих чертах, описываете подробно строение и всю историю жизни одного определенного растения махорки? .. — спросил он.

Меня несколько покорила такая критика со стороны учителя арифметики. Я пояснил, что в данном случае я счел удобным, в такой аудитории, придерживаться методики известного педагога Шмейля.

Прошло несколько дней, я встречался с Филиным во время уроков, и мы узнавали друг друга все ближе. Однажды он, чувствуя уже ко мне, повидимому, полное доверие, счел возможным поделиться со мной своей тайной.

— Я, собственно, нахожусь здесь только случайно, нерешительно, полушепотом начал он, — я был профессором Киевского Политехнического института по кафедре паровозов и начальником службы тяги Юго-Западных железных дорог. И он назвал свою настоящую фамилию, мне хорошо известную.

В то время в провинции можно было встретить много лиц интеллигентных профессий из больших центров и столиц. Но у Филина, кроме голода и разрухи, были очевидно ещё более веские причины для этого. На педкурсах, где я учительствовал, работали также два выдающихся, недавно прибывших преподавателя известных средних школ из Петербурга и Царского Села и, кроме меня, ещё один приват-доцент из Киева, филолог. Они поселились здесь у своих родственников или друзей и жили «на подножных кормах», очень, впрочем, скромных.

Один учитель из Минска, семейный, но не имевший в городе никого из близких, на мой вопрос, — что он, собственно, ест у себя дома, — ответил: — Хлеб и так называемый чай... — То есть настойку из сушеной свеклы.

Все старые продовольственные магазины были закрыты, на базаре ничего не было, и никакого жалования нам, преподавателям, не полагалось, что считалось само собою разумеющимся и не подлежащим никакому обсуждению. И только уже в конце второго учебного года, на педкурсах, сами студенты, по своей инициативе, стали привозить из дому муку и крупу для распределения между учителями. На каждого приходилось тридцать фунтов муки и десять

фунтов крупы ежемесячно. Из школы Филина и трудовой школы я ничего не получал.

То искреннее доверие, с которым отнесся ко мне Филин, и его неуверенный робкий тон, с которым он говорил со мною, человеком, сравнительно, очень молодым и незначительным, посвящая меня в свою тайну, — все это произвело на меня глубокое впечатление. И тут же явилась мысль о некоторой возможности, с моей стороны, вывести его из такого сложного и рискованного положения.

Родной брат мой, лет на двенадцать старше меня, бывший студент механик Киевского Политехникума, ученик профессора Филина, сам был уже профессором в Нижнем Новгороде. И мне казалось, что он сможет так или иначе помочь своему старому профессору. Я поделился с Филиным своими соображениями и, при следующей встрече с ним, прочел ему письмо к брату. Филин оживился, но видимо не очень верил в такую возможность. Он благодарил, был тронут, но надежд не возлагал. Я же сомневался, что письмо мое дойдет по адресу в такую разруху.

Но прошло недели три, и я получил от брата ответ. Он очень рад, что действительно сможет помочь своему бывшему профессору. В Нижнем свободны и ждут заместителя специалиста должности директора Сормовского паровозостроительного завода и, также, профессора по кафедре паровозов. Профессору следует прислать по указанным в письме адресам заявление с указанием всех его прежних должностей и списком научных работ. Заявление было написано, послано, и мы стали ждать.

Прошел месяц, другой, — ответа не было. Я жалел уже, что поднял все это дело и переписку, в результате которой Филин может потерять даже то скромное положение, в котором я его застал, что инкогнито его уже раскрыто, и его ожидают неисчислимые бедствия.

Как вдруг, уже через три почти месяца после отсылки заявлений в Нижний, я, при встрече с Филиным в школе, был удивлен происшедшей в нем перемене: — так был он оживлен, такое удовлетворение и радость прочел я на его

лице. Едва он дождался, пока вышли ученицы, как стал меня горячо благодарить. Он получил уже официальное уведомление о назначении его на должность профессора паровозов и директора паровозостроительного завода в Нижнем Новгороде.

Чтобы отпраздновать такую неожиданную счастливую перемену в своей судьбе, Филин решил устроить банкет у себя на квартире и пригласил меня на следующий день. Я застал его в обществе хозяина, в доме которого он нашел себе приют. В крошечной комнате они сидели вдвоем у узенького столика, где я увидел мелко порезанную селедку, со свежим огурчиком, графинчик водки и три куска ржаного хлеба. Хозяин произнес маленький тост, и мне пришлось, скрепя сердце, впервые в мои тридцать лет, выпить рюмку национального напитка.

Непонятно было, где раздобыл хозяин Филина старорежимную, контрреволюционную селедку. Не доверяя ее свежести я, не без опасения, взял самый узенький кусочек от хвоста. И я вспомнил, как на днях, один местный гражданин, сидя на лавочке у своего дома в беседе с приятелем, не сказал, а как то всем нутром пропел:

— Ка-а-ку-ю ры-ыб-у я е-е-л в тысяча девятьсот втором году и По-ол-т-а-а-ве!...

Филин уехал на следующий день, и я потерял с ним всякую связь.

Прошло еще два года, и наступило для нашей семьи снова трудное время, когда уже нужно было оставлять сравнительно спокойную и уютную жизнь в провинциальном городе и возвращаться в университет.

Прошло еще два года, было лето, мы с бабушкой и пятилетним сыном выехали из города.

Однажды утром на пороге нашей скромной дачной комнаты появилась хорошо одетая пожилая дама. Это была жена профессора Филина, из далекого Нижнего Новгорода.

Она слегка опешила, растерявшись при виде небрежных жалких постелей — все четыре в одной маленькой комнате — и нашей нищенской одежды.

— Могу я видеть господина Каневского ? — спросила она.

— Да, это я... Чем могу служить ? .. — растерянно сказал я, косясь на свои заплатанные брюки.

— Я приехала из Нижнего Новгорода... Жена профессора Филина...

Мы усадили ее тут же на маленькой веранде, где была скамья и стол. Бабушка, никогда не терявшаяся, начала поспешно разжигать керосином примус, готовить чай.

Пятилетний сынок наш остановился против незнакомой дамы и в упор на нее смотрел.

— Я давно уже собираюсь к вам, — начала она, — да все не было возможности... Я должна поблагодарить вас, дорогой профессор, за все то... за все то... — она вынула из сумки беленький платочек и вытерла невольные слезы, — за то, что вы сделали для моего мужа четыре года назад... Вы спасли его и всю нашу семью... С того времени он работает по своей специальности, очень удовлетворен... Все мы живем хорошо... Муж передает вам... — она снова вытащила платок, — свою великую благодарность !..

Тут сынок наш не выдержал:

— Мама !.. — вскричал он, — скажи ей !.. Чего она плачет ? .. Приехала рано, не дала нам позавтракать... и еще плачет !.. И ты, мама !.. Почему все плачут !..

Мы были также очень растроганы, но нам нечем было вытирать свои слезы: носовых платков у нас не было.

УКРАИНСКАЯ «МОНА ЛИЗА»

Минул уже третий год нашего прозябания в уездном городе Полтавской губернии. Прошумела гражданская война, едва не докатилась до нас война с Польшей, и входила уже в привычку полуголодная, но относительно спокойная жизнь. Далекой и уже отошедшей в прошлое вспоминалась работа в университете, и я уже начал по настоящему входить в роль учителя природоведения на высших педагогических курсах, тем более, что новые для меня лица, понаехавшие из северных столиц в наш город, преподаватели высших и средних школ, бежавшие подобно нам от голода и разрухи, создавали новое для меня и приятное общество коллег — учителей на педкурсах.

Я захватил все же с собой некоторые книги и микроскоп, чтобы хоть первое время не чувствовать себя оторванным от всех своих прежних занятий.

Однажды утром моя работа была прервана оживленными голосами возвратившихся откуда то жены и тещи:

— Знаешь, Митя!.. — вскричала жена, — на стене Преображенского собора обновилась икона!.. Та, что со стороны базара, под самой крышей... «Всевидящее Око»!..

— Да что ты?.. — возразил я, — слышали мы о таких обновлениях уже много раз, и мне кажется, что люди так много говорят теперь о подобных чудесах в противовес этой оголтелой антирелигиозной пропаганде.

Так или иначе, но в один прекрасный день я получил от председателя исполкома требование немедленно выступить в качестве эксперта по делу об обновлении этой иконы, собственно — фрески, на северном фасаде одного из двух наших соборов, расположенных в районе базарной площади. Икона была написана на стене в нише под прикрытием, и

была хорошо защищена от прямого воздействия солнечных лучей и дождя, в противоположность двум большим фрескам в портале, на южном фасаде собора, никак не защищенным от действия солнца и атмосферных осадков. От этих икон остались на стене только едва приметные очертания фигур изображенных там апостолов.

В качестве экспертов по этому делу были привлечены еще два лица: архиерей из Полтавы и, проживавший в нашем городе уже с 1918 года, известный московский художник Скалон.

Когда все собрались, предисполкома предложил нам, экспертам, немедленно направиться к месту происшествия для всестороннего обследования иконы. Обыкновенная приставная лестница, не менее тридцати футов высотой, достигала небольшой площадки под самой крышей собора.

Я с некоторым опасением смотрел на эту никак не укрепленную сверху шаткую лестницу, но как самый молодой, первым вызвался взбираться по перекладинам. Обладая хорошим зрением, я, даже не вступая на площадку в нише, хорошо рассмотрел всю поверхность фрески и мог заметить только мелкую сеть многочисленных трещин на поверхности слоя красок, в общем хорошо сохранившихся и не обнаруживавших следов какой либо реставрации.

Художнику, пожилому костлявому человеку высокого роста, было, вероятно, не впервые карабкаться по лестницам и лесам, и он справился со своим делом в несколько минут. На нем была потертая серая куртка и яркокрасные суконные шаровары, сшитые, как я позже от него узнал, им самодельно из старого ковра, и высокие, давно нечищенные сапоги.

Архиерей, человек пожилой, с бледным нездоровым лицом, был видимо в затруднении.

— Ваше преосвященство — обратился я к нему, — вам, в вашем сане и возрасте не подобает, да и небезопасно будет взбираться по этой лестнице. Мы оба, известный московский художник и я, научный работник, обследовали уже, на ваших глазах, икону вблизи. Дело ясное. Икона эта

находится под крышей и на северной стороне; на нее никогда не попадают прямые лучи солнца, а только рассеянный свет; не попадают на нее и дождевые капли. Иконы же на южной стороне, у входа в храм, ежедневно подвергались, многие годы, и тому и другому разрушительному влиянию и, по этой причине, они выцвели, обесцветились. Чуда здесь нет: чудом было бы, если бы иконы на южной стороне сохранились так же хорошо, как на северной. Мы оба, опытный большой художник и я, научный работник, можем составить письменное заключение об этом сейчас же, в исполкоме, и вам останется только или соглашаться с нами или возражать против наших заключений, как ответственному представителю церкви.

Художник подтвердил мои выводы и архиерей согласился с видимым облегчением. Все трое мы дружно зашагали к помещению исполкома.

Составили там и подписали наши заключения об экспертизе. Архиерей остался в исполкоме, а художник Скалон вышел вместе со мною. Было заметно, что персона моя чем то его заинтересовала: простое и для всех приемлемое мое объяснение причин обновления иконы очень ему понравилось. И он пожелал проводить меня до самого дома.

Мы подходили уже к дому, и меня смущало, что я, никого не предупредив, прихожу с незнакомым человеком и к тому же наверное очень голодным, а угостить его нечем. Лицо у него было бледное, кожа отвисала, образуя складки, левый глаз слезился, и он то и дело смахивал слезу четвертым пальцем левой руки, — лицо усталого, помятого жизнью человека, и брезгливое выражение тонких губ, поджатыми, с проседью усами и такой же бородкой.

— Мне уже за пятьдесят... Я уже полная развалина!.. — как то сказал он мне во время одной из наших прогулок по городу, которые он, к моему смущению, затеял с этого дня.

Всё же, мне первое время было интересно и ново общение с ним, — не приходилось еще беседовать с крупным художником, глубоко просвещенным, не раз посещавшим

музеи Европы. Семьи у него не было. Жил он одиноко, уже года три в нашем городе, спасаясь от московской разрухи. Ему удалось как то устроить себе нечто вроде мастерской. Две больших комнаты были по всем стенам завешаны его картинами. Они висели и на высоких щитах, поставленных вдоль обеих смежных комнат. Среди большей из них лежала на полу целая куча кусков торфа, попеременно с жестянками и бумажками. Все его картины были написаны однообразной серой самодельной темперой. Заинтересовали меня его карандашные рисунки — портреты, занимавшие целую стену. Они поражали блестящей техникой штриха, уверенностью свободной руки большого мастера.

Я с некоторым интересом раза два посетил его уютную мастерскую. Но все же слишком уж недостаточно было у меня точек соприкосновения с ним, человеком из незнакомой мне среды и чуждых мне интересов и привычек, чтобы посвящать ему ежедневно все свободное время. И все это начинало уже очень меня тяготить, выводило из душевного равновесия, и я не мог себе представить, каким образом я смогу избавиться от всего этого и возвратиться к своему привычному образу жизни. Но один незначительный эпизод во время очередной прогулки неожиданно представил мне выход из создавшегося положения.

Он предложил мне позировать ему для портрета.

Я уже заранее предвидел такую возможность и, без промедления, категорически отклонил такую честь, заявив, что это меня совершенно не интересует.

Он был озадачен, возможно — это было ему впервые, но, видимо, не обиделся или не показал этого.

Мне было как то не по себе, хотелось как можно скорее загладить неловкость. Захотелось придумать для него какую то действительно увлекательную работу, способную поглотить все его внимание. И вот, меня вдруг осенило...

Он с увлечением вспоминал об одном из своих посещений музеев в Италии и Франции, еще в пору далекой юности, и особенно, о своих первых, самых ярких впечатлениях от творений Леонардо да Винчи.

А еще недавно, один из моих коллег по педагогическим курсам, молодой учитель рисования, воспитанник киевского художественного училища, обратил мое внимание на лицо одной из наших студенток, напоминавшее своим выражением и особенно складом губ и едва уловимой улыбкой, знаменитую Мону Лизу. Но насколько привлекательнее, ярче и одухотвореннее была красота нашей юной украинской студентки! И я тут же, не откладывая, обратился к художнику Скалону.

— Я очень сожалею, — сказал я, — что не проявил должного интереса к вашему предложению сделать мой портрет, но я глубоко это оценил и мне хотелось бы теперь отблагодарить вас от всей души... хотелось бы предложить вам, осмелиться это сделать, написать взамен моего портрета нечто действительно стоящее вашего внимания, целую картину... Вторую Мону Лизу... Я говорю об этом не без основания: среди моих студенток есть одна, лет девятнадцати, обладающая такою же, едва заметной, загадочной улыбкой и даже некоторым сходством с тою женщиной, с которой писал да Винчи свою картину... И я надеюсь, что наша студентка согласится позировать вам.

Художник отнесся к моему предложению вполне серьезно, с интересом и заметным оживлением. Он начал спрашивать, как смогу я это устроить, сообщил, что у него сохранилась еще заветная коробка масляных красок и кусок холста... знакомые дамы могут сшить, по его рисунку, костюм для натурщицы...

Я же, чувствуя некоторое смущение, решил обратиться к нашему учителю рисования с просьбой, минуя меня, передать нашей студентке от лица самого художника Скалона, предложение ей позировать.

Девушка согласилась. Скалон приступил к работе.

Проходило лето, и наступило уже время для нашей семьи покинуть этот скромный уютный город, где мы все же смогли как то, сравнительно, спокойно пережить самое тяжелое время. И уже наставала, в связи с переездом, новая забота: предстояло мне, буквально без единого гроша в

кармане, выехать сперва одному в Киев и подготовить там квартиру для всей семьи, которую я оставлял без всяких средств к существованию.

Незадолго перед отъездом, направился я к художнику. Мы не виделись уже больше месяца. В мастерской у него стало как то уютнее, исчезла куча торфа среди большой комнаты, все эти бумажки, жестянки... Он попрекнул меня добродушно, что покинул его, старика. Выглядел он посвежевшим, был подстрижен и опрятно одет.

Он сразу же подвел меня к небольшой, стоявшей на мольберте картине, покрытой куском грубой материи, и снял покрывало.

С полотна смотрела на меня красавица студентка, с ее загадочной улыбкой. Идеальный итальянский пейзаж, — фон картины, — тона красок и манера письма в духе средневековой живописи, — все это создавало впечатление замечательного произведения искусства.

— Да это настоящая Мона Лиза!.. — вырвалось у меня невольно, — вторая... украинская Джоконда!

Я распрощался с художником. Что то новое, какой то слабый отблеск давно позабытых мечтаний юности, промелькнуло на его чуть порозовевшем лице.

Я переехал один, и почти два месяца понадобилось, чтобы подготовить, с великими трудностями, все необходимое к переезду семьи.

За неделю до их прибытия, я получил от жены следующее письмо:

... « На педкурсах у нас все еще не верят, что ты покинул свою работу. Место все еще остается за тобою, и за сентябрь даже тебе уже выписано жалованье... Целый миллион!.. И еще новость!.. Твой знакомый московский художник недавно женился на той студентке, с которой он писал свою « Украинскую Мону Лизу »!..

« НАСИНЫНА »

« Насинына » — семя, это название одной маленькой брошюры, всего в печатный лист, которая, однако, едва не принесла мне, в свое время, много бед. Была она написана в 1934 году, « в порядке общественной нагрузки » сотрудников Украинской Академии наук. В очень популярной форме, доступной для колхозников, там была рассказана история опыления, оплодотворения и развития семени у цветковых растений.

Закончив работу поздно вечером накануне того дня, когда рукопись обязательно нужно было представить куда следует, я тотчас же направился к редактору научно-популярных изданий, заведующему гербарием Академии старому профессору Е. И. Бордзиловскому. Написал и он популярную работу, но не брошюрку, а целую книгу: руководство по сбору и определению лекарственных растений, с описанием не только их морфологии, но также — их лекарственного значения. Написано это было с такой любовью и знанием дела, языком таким ясным, доступным и дающим в то же время такую полноту сведений и практических указаний, что для сельских учителей и некоторых колхозников эта книга стала настоящим откровением.

« Где этот Бордзиловский ? .. Хоть бы увидеть его, какой он, этот удивительный профессор ! .. » — спрашивали меня сельские учителя на лекциях по общей ботанике при Киевском сельскохозяйственном институте, присланные в Киев с разных концов Украины для повышения квалификации.

Таков был редактор наших брошюрок. Он имел привычку засиживаться в своем гербарии до двух часов ночи и часто оставался там ночевать, прикурнув не раздеваясь на диване без подушки и прикрывшись шубой. Было уже

двенадцать, когда я вошел, и он тотчас же принялся за чтение рукописи. Он очень одобрил мою работу, но заметил, что раз дело идет о семени, то необходимо здесь также упомянуть и о яровизации семян. Я согласился, но с большой неохотой: ведь этот вопрос, по сути дела, был совершенно незнаком ни мне, ни Бордзиловскому, а времени для литературных справок или консультации с физиологами уже не было.

Дома я стал рыться в своих книгах и натолкнулся на неведомо каким образом попавший ко мне краткий учебник физиологии растений для сельскохозяйственных техникумов, Государственное издательство, Харьков, и нашел там несколько строк о процессе яровизации. — « Вот удача », — подумал я и решил в точности скопировать эти строки из проверенного официального источника. Я не знал, к сожалению, что один из аспирантов Института ботаники, мне почему то симпатизировавший, физиолог, как раз в то время работал по вопросам яровизации, да еще и в программе « самого » Т. Лысенко, и зайдя я к нему перед подачей рукописи утром, он в несколько минут написал бы мне короткую заметку о яровизации и сделал бы это с большой охотой. И я подал свою рукопись с той никчемной и ничтожной цитатой из харьковского учебника, не обозначив откуда она взята, т. е., выдавая ее за собственные слова. Подал, невзирая на то, что уже хорошо в то время знал, что представлял собой Трофим Лысенко, еще в 1930 году на докладе кричавший, что ему чинят препятствия в деле повышения урожайности посредством яровизации классовые враги.

Я был в числе сотрудников Института ботаники, а во главе его стоял академик А. В. Фомин, заместителем которого по партийной части был аспирант физиологии, один из приближенных Трофима Лысенко, деревенский парень с постоянно угрюмо-насупленной миной. Прошло уже около двух месяцев после подачи рукописи, и я забыл и думать об этой брошюре, как вдруг заходит ко мне на работу этот зам. директора и заявляет:

— Товарищ Каневский, у вас в книжке о семени дана

неправильная температура яровизации, могущая принести вред этому делу, если книжка разойдется по колхозам. Поэтому я запретил распространение книжки и все издание будет уничтожено. Это дело уже передано на рассмотрение партийного комитета Академии наук.

Я ответил, что яровизация не имеет никакого отношения к моей специальности — я не физиолог, а эмбриолог и палеоботаник и о яровизации знал только по наслышке — не имел времени познакомиться с этим вопросом. Но я счел нужным упомянуть об этом и, по незнанию, мог сделать ошибку.

— Как же это так, что вы не поинтересовались таким важным вопросом? — удивился он, — ведь теперь яровизуют не только злаки, но и картофель... Ну, теперь, значит, вы должны явиться с редактором Бордзиловским на собрание партийного комитета, где будет рассмотрено это дело, — заключил он.

Не трудно представить себе мои переживания, и тем более, что, собственно говоря, я без больших хлопот мог бы отвести эту грозу от себя, если бы заявил зам. директора, что эту несчастную температуру я не выдумал сам, а взял ее из учебника Госиздата. Но я и мысли об этом не допускал: ведь это был бы донос на автора харьковского учебника. И я даже Е. И. Бордзиловскому ни слова об этом учебнике сказать не мог.

Начались разговоры в Институте, удивлялись, что перед подачей рукописи я не обратился к специалисту по яровизации, аспиранту, о котором я уже говорил.

Наш главный физиолог, профессор А. М. Левшин, сказал:

— Вы там указали такую температуру, что... Хорошо еще, что книжка не была распродана, а то бы...

Хорошо, значит, было, что зам. директора проявил свою бдительность и во время заметил мою оплошность. Чего доброго, мне следовало даже поблагодарить его... Но не меня ради поднял он этот шум.

Одним словом, моя скромная личность сделалась сказкой Академии.

Встретил я на улице директора нашей академической типографии, человека безграмотного, но имевшего в прошлом отношение к типографскому делу, партийца:

— Я прочитал вашу брошюру, товарищ Каневский!.. — сказал он. — С начала там все прямо таки замечательное!.. А последняя страница!.. Что то ужасное!..

Партийный комитет затребовал все мои печатные работы — расследовать, нет ли там вредных буржуазных теорий.

С тяжелым чувством вошли мы, уже вечером, в небольшой зал, где на нескольких рядах стульев сидело человек тридцать. Зам. директора сидел, видимо, где то позади: я его не заметил. Нам предложили сесть у стола напротив, и один из сидевших в первом ряду членов комитета обратился ко мне:

— Товарищ Каневский, вы специалист по яровизации?

— Нет, я не специалист...

Такой же вопрос был задан и Е. И. Бордзиловскому.

Лица вопрошающего и его соседей смотрели на нас с явным сожалением, некоторые улыбались.

Последовало краткое совещание вполголоса.

— Товарищи Каневский и Бордзиловский! — заявил председатель. — Неправильные данные в брошюре товарища Каневского «Насинына» признаны непроизвольной ошибкой как не специалиста по яровизации. Вы можете отправляться домой.

Падал снежок, и так легко было на душе, когда я подерживал хромого Е. И. Бордзиловского, провожая его до самого дома по неровным и скользким киевским улицам. Но как отравлены были бы эти светлые минуты, если бы я принес на собрание ту книгу, откуда я взял эти ошибочные данные и свалил бы свою вину на автора этого жалкого учебника.

ДЕЛО РАИСЫ БЕЙЛИС

Не могу припомнить, весной какого именно года из периода сталинского лихолетья все это произошло, но скорее всего это было в 1935 г. Выбирали самого «отца народов», и всеобщее подобострашие, трепет и подхалимство владели умами.

И вот, в одном из предвыборных собраний Института Ботаники Украинской академии наук, аспирантка Раиса Бейлис, родная племянница Менделя Бейлиса, известного по его ритуальному процессу, инсценированному министром — Щегловитовым — выступила неожиданно с публичным разоблачением культа личности Сталина. Была она аспиранткой отдела цитологии и эмбриологии растений и я, как старший научный сотрудник отдела, был отчасти ее руководителем.

Когда дело коснулось поручения ей предвыборной пропаганды в пользу Сталина среди рабочих Ботанического сада Академии, она вдруг выступила с резким, безапелляционным заявлением:

— Зачем я пойду в Зверинец агитировать за Сталина? Сталин — такой же человек, как и все!

В голосе Раисы Бейлис чувствовалось явное раздражение.

Наступила всеобщая жуткая тишина. Все — партийные и мы, грешные, — словно остолбенели, потеряли дар слова.

Непонятно было, что ее дернуло тогда на это выступление, такое, по сути, правдивое, благородное и даже геройское. Но какие то основания для этого у неё все же были.

В прошедшую осеннюю посевную кампанию послали ее в колхозы для пропаганды. Горожанка, совершенно незнакомая с бытом села, она воливалась, страдала и, перебегая из хаты в хату, не заметила в потемках сеней открытого

люка в глубокий погреб, свалилась и настолько повредила себе позвоночник, что была с предосторожностями перевезена в киевскую клинику и долго пролежала в гипсовой повязке, а после принуждена была носить особый корсет. И едва только она почувствовала себя почти уже здоровой, — снова эта нагрузка и — нелегкая даже физически, поскольку большую часть дороги на Зверинец надо было проделывать пешком.

Языки развязались не сразу. Нельзя же было не только повторить ее заявление, — невозможно было даже сделать намек, из которого можно было бы отгадать жуткий смысл её смелого выпада против самого Сталина.

Заговорили об удивительной её неосознанности, если она отказывается от общественной работы в такой ответственный момент.

Завхоз Академии, партиец с манерами кулца третьей гильдии и окладистой рыжей бородой, подошел к делу чуть ближе, но его речь состояла только из трех слов:

— Это дело американское! — прокричал он, дико вращая глазами.

Он имел в виду влияние на Раису Бейлис ее дяди, проживавшего в ту пору в Аргентине.

Собрание было прервано после еще некоторых недоговоренных и невнятных выступлений. Настоящее обсуждение дела было, видимо, перенесено в закрытое собрание партийного комитета Академии.

На другой день, в лаборатории, глава отдела, пожилой известный ученый, который содействовал принятию Бейлис в аспирантуру, пытался в робких и тихих словах успокоить ее, совершенно уже потерявшую свое душевное равновесие. Он сказал:

— Что поделать, Раиса Ароновна, болезнь входит пудами, а выходит золотниками!..

Прошло несколько тревожных дней среди полного молчания со стороны партийного комитета.

Наконец, стало известно:

« Аспирантка Института Ботаники Ранса Бейлис, по причине ее систематического уклонения от общественной работы, исключается из числа членов профсоюза на шесть месяцев ».

Она могла продолжать работу по специальности без дальнейших осложнений, а от общественных нагрузок она была освобождена совершенно.

ДЕЛО ВЛАДИМИРОВА

Это дело, об убийстве в 1904 году помещижа Владимира в Черниговском уезде, было целым событием в жизни нашей семьи.

Не берусь излагать все обстоятельства дела, но хочу только поделиться впечатлениями сына судебного следователя, ведшего предварительное следствие, которое было крайне осложнено и коренным образом извращено вмешательством в это дело министра юстиции, Щегловитова.

Дома, в свободное время, отец, не давая себе отдыха, постоянно обсуждал с матерью все обстоятельства этого дела, мы же — дети от 12 до 17 лет, из которых я был средним, всё время прислушивались к их разговорам.

Помещик Владимир был убит в своем доме, поздним вечером, когда он сидел за письменным столом в десяти шагах от закрытого, но не занавешенного окна. Убийца стрелял через стекло из охотничьей двустволки, крупной картечью. Семь таких пуль засело в стене, противоположной окну, и конфигурация их расположения, как и диаметр поля их рассеяния, были приняты во внимание при следствии. Было выяснено, путем разбора добытых следствием улик, что убийство было совершено крестьянином того же села Корнеем, единственным владельцем охотничьего ружья, из которого был убит Владимир, и Корней был подвергнут предварительному заключению.

Ружье Корнея, как вещественное доказательство, хранилось в кабинете нашего отца, и мы, братья, не раз держали в руках эту столь любопытную для нас пистонную двухстволку и, однажды, даже зарядили один ствол и произвели выстрел, правда только холостой, чего все же никак не следовало делать по той причине, что, как после оказалось, предстояла вскоре экспертиза над этим ружьем,

с целью выяснить продолжительность времени, протекшего со дня последней стрельбы из него. Экспертиза состоялась в нашем дворе, на наших глазах, при содействии полицейских чинов, и дала результаты, подтверждающие выводы следствия.

Следствием было также установлено, что помещик Владимиров находился в крайне враждебных отношениях с помещиком Красовским, местным земским начальником, проигравшим незадолго до убийства судебный процесс с помещиком Владимировым из за спорных земельных участков. Помимо этого, ряд собранных следствием прямых улик указывал на непосредственное участие в этом убийстве самого земского начальника Красовского, подкупившего крестьянина Корнея, у которого лично не было никаких оснований и побуждений для совершения этого преступления.

Все обстоятельства этого дела продолжали всесторонне обсуждаться в нашей семье между отцом и матерью. Постоянные допросы происходили в камере отца, помещавшейся в полуподвальном этаже нашего дома в Чернигове, и составлялись и тщательно стилистически обрабатывались все материалы сложного предварительного следствия, составлявшие уже большой том в несколько сот страниц.

Когда, по истечении двух месяцев, предварительное следствие по этому делу было отцом закончено, дальнейший ход дела был неожиданно приостановлен по требованию губернатора Хвостова, который счел необходимым представить это дело в Петербург, на рассмотрение министра юстиции, на том основании, что предъявляемое следствием обвинение земского начальника в преднамеренном убийстве дискредитирует якобы самую идею положения 1889 года об учреждении должности земского начальника, которое имело основной целью установление правительственного контроля над деятельностью низовых земских учреждений, при отправлении определенных судебных и административных функций.

И вот, благодаря вмешательству в дело губернатора,

все материалы предварительного следствия, произведенного моим отцом, оказались в руках Щегловитова, который и поступил в этом деле в точности так же, как поступил он позже, уже вторично, в 1913 году, в деле Бейлиса. Щегловитов отдал приказ повторить предварительное следствие по делу Владимирова, и в Чернигов был послан петербургский судебный следователь по особо важным делам Бурцев, который и появился в один прекрасный день в нашем скромном черниговском доме.

Бурцев оказался человеком очень мягким, обходительным и прекрасным рассказчиком, и мы, братья, присутствовали при всех его беседах с нашими родителями по поводу дела Владимирова.

Бурцеву поручались наиболее важные дела по всей территории России, он был постоянно в разъездах, но не жаловался, впрочем, на это, заявляя, что пользоваться настоящим отдыхом он может только в вагоне железной дороги. Он ездил с отцом в уезд на место преступления, допрашивал свидетелей и долгое время был занят увлекавшим его чтением предварительного следствия моего отца.

— Да это настоящий уголовный роман!.. — повторял Бурцев. Изучая дело Владимирова, он пришел к твердому убеждению, что улики, собранные следствием против земского начальника Красовского, не оставляют никаких сомнений. Глубоко убежденный в правоте моего отца, Бурцев возвратился в Петербург и представил соответствующий доклад Щегловитову.

Прошло около двух недель, и однажды, возвратившись после трех часов из гимназии, мы, братья — подростки, были поражены необычной картиной.

На улице против нашего дома стояла большая, блестящая черным лаком губернаторская карета и была настежь открыта калитка, всегда запертая, ведущая ко входу в полуподвальный этаж, где помещалась канцелярия отца, по узкому проходу между глухой стеной дома и забором, под густой тенью высоких вязов. Каретная дверца была приоткрыта, и в глубине виднелось знакомое нам усатое и боро-

датое лицо черниговского полицмейстера, очень внимательно нас разглядывавшего.

Не понимая в чем дело, испуганные, мы побежали ко входу в дом, где нас встретила взволнованная мать:

— Тише!.. Не стучите!.. У папы в канцелярии внизу сидит сам Щегловитов, министр юстиции... Уже давно, с часу дня...

Обозленный неудачей миссии Бурцева, Щегловитов решил лично воздействовать на несговорчивого черниговского следователя и явился в камеру отца с целью убедить его переработать весь текст предварительного следствия, не выдвигая более никаких улик против земского начальника Красовского.. Долго и горячо убеждал министр судебного следователя пойти на такое бесчестное соглашение и обещал даже ему в награду значительное повышение по службе. Но отец остался непреклонен.

— Ну и упрямый же вы хохол!.. — с крайним раздражением воскликнул Щегловитов, покидая канцелярию моего отца, и, не заметив от волнения низко расположенную притолоку выходной двери из полуподвала, набил себе на лбу порядочную шишку, о чем и рассказал нам отец, поднявшись наверх после отъезда сановного посетителя. — Он даже предлагал назначить меня членом окружного суда в любой из южных городов, где только будет вакансия! — сказал отец, глубоко возмущенный.

Не прошло и десяти дней после этого неожиданного визита, как отец был смещен с должности в Чернигове и назначен городским судьей в г. Остер, что было некоторым понижением. На место отца был назначен новый, видимо покладистый, судебный следователь, который и повел дело Владимирова в полном согласии с требованиями министра юстиции, позорно нарушившего все законы правосудия. Земского начальника дело это и не коснулось, а крестьянин Корней был осужден на каторгу.

В мае 1906 года отец переехал в Остер, где спокойная и несложная работа городского судьи была для него только отдыхом. Мы, дети с матерью, провели у отца первую по-

ловину лета, а 15 июля отец, как всегда, каждое лето, уехал со всей семьей в полуторамесячный отпуск в наше имение в Полтавской губернии.

Когда, в августе, мы возвратились в Чернигов, и отец собирался уже снова отправляться в Остер, было получено извещение о назначении отца на должность члена Луцкого окружного суда по гражданскому (однако) отделению. Это было уже повышение. Уж слишком было нелепо налагать опалу на человека за проявленную им в этом случае глубокую порядочность и преданность своему долгу.

В ПОЕЗДЕ НАКАНУНЕ ИВАНА КУПАЛА

Наступили каникулы, и тихим летним вечером выехали мы всей семьей по железной дороге, старой, уютной узкоколейке, из родного Чернигова в наше имение у самой границы между Черниговской и Полтавской губерниями. Шел мне четырнадцатый год, я только что перешел уже в пятый класс, впереди были радости деревенского лета.

Был я мечтательным, даже слегка романтически настроенным мальчиком. Уже с ранних лет моим увлечением были героини Тургенева. Не был я также равнодушен и к черноглазым и чернобровым гоголевским украинкам. Но картины природы и книги о ней особенно властно увлекали мое детское воображение, — более всего картины звездного неба в безлунные ночи, и возвышенная романтика астрономических наблюдений захватывала в те годы все мое существо юного астронома-любителя.

В дороге, даже ночью, я никогда не ложился спать. Так и на этот раз, сняв у открытого окна вагона, любуясь звездами и с восторгом предвкушая свои летние астрономические занятия, я крепко сжимал ремешок, которым был обязан чемоданчик, с уложенными в нем «Астрономическими вечерами» Клейна, «Путеводителем по небу» Покровского и маленьким телескопом.

Когда, уже в полночь, поезд наш приближался к станции Круты, поблизости от Нежина, где учился Гоголь, и где стояло прекрасное, величественное здание его лицея, мне хорошо знакомое, я заметил на берегу небольшого пруда, под сенью раки, пылающий костер и группу пляшущей вокруг него украинской молодежи, украшенной венками из полевых цветов.

— А ведь это ночь накануне Купала, — промелькнуло в голове, и я вспомнил, что по словам моего старшего ку-

зена, талантливого молодого ученого фольклориста, этот древний обычай, прыгать через костер и водить хороводы в эту ночь, все еще сохранялся в те времена в гоголевских местах: в районе Нежина, Миргорода и Диканьки.

Семья наша занимала всю переднюю половину вагона « для некурящих », в другой же половине за дверью, замкнутой на ключ, пассажиров, повидимому, не было. Поезд двигался, как всегда по этой дороге, не спеша, тихо и спокойно, все мои родные крепко уснули и я, убаюканный мерным постукиванием колес и благоуханным, чуть влажным воздухом полей, также забылся, сидя у открытого окна, и крепко заснул. Не слышал я уже, когда поезд пришел на станцию Круты и был там поставлен, как обычно, на запасный путь, среди полей, до самого утра.

Прошел час или больше и, сквозь сон, я стал полусознательно прислушиваться мало по малу к доносящемуся откуда-то странному, непонятному, перемежающемуся крику или воплю и, еще в полусне, начал постепенно сознавать, что этот жалобный, отчаянный призыв о помощи раздается где-то тут же поблизости, за дверью в соседнем отделении вагона. Жалобный женский голос, молодой и мелодичный, словно умолял кого-то о чем-то, он то кротко просил, постепенно затихая, то снова переходил в настоящий вопль, и в нем слышались даже угрожающие ноты. Немилосердно коверкая русские и украинские слова, она вопила:

— Ну вылазьтеж !.. Ну вы-ходте ! !.. Ну выходьте-ж бо ! !.. Ну вылазьте-ж !.. (протяжно) Ну выла-а-а-а-зьте е !.. Ну выходьте !.. Ну выла-а-а-а-зьте ж бо-о-!.. Ну имейте-ж до мэнэ сон-стра-а-дания !.. У мэнэ-ж ко-о-та-а-р жолудка !.. Ну имейте-ж !.. Ну имейте-ж !.. (сви-репо) Ну имейте !.. Ну вылазьте !.. Ну вы-ла-а-а-азьте !..

Внезапно этот вопль прервался. Громко хлопая дверьми и позвякивая фонарем и ключами, в вагон вошел кондуктор. Он быстро прошел мимо меня и отпер дверь в соседнее отделение вагона.

На полу, против замкнутой двери сидела молодая девушка в праздничном уборе. Тяжелые, светлого золота ко-

сы виднелись из-под венка полевых цветов, прекрасные сероголубые глаза с мольбой смотрели на кондуктора.

Он молча открыл своим ключом заветную дверь, но тотчас же захлопнул ее и запер на ключ. В уборной никого не было.

— Пользоваться клозетом на станциях строго воспрещается! — вскричал кондуктор, — поезд стоит тут шесть часов, а она добивается в клозет!!.. Мало тебе поля кругом?!..

Но девушка не трогалась с места, и все говорило о том, что кондуктор жестоко ошибся, не вияв ее кроткой, молчаливой мольбе.

Наступал тусклый, серый рассвет.

Так были прерваны мои детские грезы о величии звездных миров и о гоголевских русалках, в эту тихую летнюю ночь моего счастливого детства, ночь накануне Ивана Купала!..

(Отрывок из книги воспоминаний).

ИЗ ПРОШЛОГО

Уже месяц прошел, как они познакомились, и Митя придумывал всевозможные способы и предлоги, чтобы встречаться почаще; но что делать человеку взрослому, если в свои двадцать четыре года он все еще не мог преодолеть свою крайнюю застенчивость, неловкость и нерешительность!

Еще ребенком он впервые серьезно и с первого взгляда полюбил свою ровесницу, при встрече с ней на елке, Маню Кितिцыну. И уже дома в детской, сидя на своем излюбленном старинном, обтянутом кожей сундучке — вализе, где хранились детские вещи, и где внутри, на вогнутой крышке, были наклеены такие замечательные, немножко выпуклые цветные картинки, он впервые ясно и остро почувствовал и глубоко пережил в течение нескольких незабвенных минут неизъяснимую сладостную радость осознанной любви.

Лет двенадцати, Митя впервые влюбился в одну из сестер-гимназисток из соседнего дома, известных в гимназическом мирке города красавиц — в младшую, Женю Зарембскую. Но он мог любоваться ею только через щели в заборе. Когда же она уселась однажды на подоконнике своего низенького дома, лаская серенькую кошечку, он решился... Он взял большой черный отцовский зонтик, раскрыл его и, спрятавшись за ним так, что не было видно и самого дома, он несколько раз прошел мимо ее окна, вперед и обратно, среди пыльной, не мощённой улицы. Опустить же зонтик и хотя бы на миг бросить взгляд на предмет своего обожания Митя так и не решился, и всей этой нелепой выходкой он вызвал только ее веселый хохот, серебристые раскаты которого только и были его наградой. Сам же он был уверен, что своим поведением он наилучшим

образом доказал всю безграничность своей неразделенной любви.

Вторая его Маня, на этот раз Манюня Свет, была его троюродной сестрой и старше его, мальчика, пятью годами, уже московская институтка старшего класса. Обе семьи, и романтика Мити и Манюни, проводили летние месяцы в своих усадьбах, вблизи друг друга. Дети часто встречались, и Манюня, с своими младшими сестрами, затевала разные игры. Митины братья, младший и старший, играли с ними, он же смущался, дичился и больше стоял упрямо в стороне и наблюдал, как резвятся вокруг на лужайке три девушки, существа для него необычные, поскольку он, не имея родных сестер, которые имели бы подруг, был изолирован от общества девочек и не был знаком, за все время учения в гимназии, ни с одной из гимназисток, хотя женская гимназия была в квартале от мужской. А о гимназических балах в Дворянском Собрании знал он только по наслышке.

И вот он влюбился в старшую из кузин, Манюню. Он и не пытался обнаружить свое преклонение перед ее красотой, только смотрел на нее исподлобья, да и то больше в сторону, чтоб она не заметила. Но от нее это не скрылось, и девушка захотела пойти ему навстречу, показать, что она и понимает его и любит. Вечером, в бальном зале, она, играя в фанты, устроила так, что они остались на две-три минуты наедине, накрытые большим розовым платком.

Эта юная грудь перед самым его лицом, приподнятая тесным скрипучим платьем, эти темные, прекрасные любящие глаза и полуоткрытые губы... Но он не посмел поцеловать, точно некая внешняя сила его удерживала.

Его старший брат, Саша, в то время уже студент, был также, а возможно, еще более скромн и нелюдим и, если и бывали у него юношеские увлечения, переживал их молча, в душе, не выявляя, ничем не показывая. Был он первым учеником в гимназии, получил золотую медаль, но единственным его развлечением была игра в шахматы, а летом — поездки в лодке на бечеве с товарищами по живописной в районе Чернигова реке Десне. Он все же учился танце-

вать, но на балах почти не бывал, а в студенческие годы если и встречался случайно с девушками, которые ему нравились, не был в силах преодолеть свою нелюдимость, скромность и застенчивость и сделать первые шаги, ведущие к сближению.

Оставаясь и далее в таком положении, без надежды на лучшее, он попал, под конец, в руки опытной пожилой девы, которая, пользуясь тем, что он жил у нее на квартире как студент, не пощадила его юности и, будучи почти в два раза его старше, женила его на себе. И это было тяжелой драмой на всю жизнь и для него и для всей семьи.

А между тем, еще за год до этой женитьбы случилось так, что Манюня Свет, та юная красавица, которую так обожал брат Митя, сама полюбила брата Сашу, также безумно, но тайно, в нее влюбленного.

Однажды, жаркой июльской ночью, когда все братья уже укладывались в постель, все в одной комнате, по причине ремонта — покраски полов в их просторном, светлом деревенском доме, все устали, царил беспорядок в доме, неразбериха, подкатила вдруг, в одиннадцатом часу, коляска от семьи Свет с настоятельным приглашением на бал старшего брата, Саши. Он одевался поспешно, с серьезным, суровым лицом человека, вызванного по срочному, ответственному делу. Он умел танцевать, но вальсировал с тем же сухим, серьезным лицом, с каким он ехал на бал. Для Саши этот вид развлечения не достигал своей цели, как способ сближения.

Возвратился он поздно. Но ни этот бал ни все иные развлечения в обществе горячо любимой им Манюни не могли создать для Саши такие условия, чтобы он смог решиться, наконец, так или иначе обнаружить свои чувства. Нечто не от мира сего, какой-то непреодолимый избыток сдержанности, скромности и нравственной чистоты удерживал и того и другого брата, и мальчика и юношу, от каких-либо внешних проявлений их скрытого преклонения перед чарами женского обаяния.

Между тем и для брата Мити, уже молодого приват-

доцента, ничего не растерявшего еще из своего запаса скромности и неприкосновенности к тайнам любви, наступило уже время всерьез подумать об устройстве своей личной жизни.

Он появился в начале июня в имении своей матери в Прилуцком уезде, где все семейство издавна проводило неизменно каждое лето, и встретился там, в соседней усадьбе родственников, с гостившим у них незнакомым Мите семейством их старых друзей. И с первого же дня знакомства Митя не замедлил влюбиться с златокудрую дочь их, молодую студентку филологии и певицу, Таню.

В музыкальной семье кузенов, младший из которых был композитор, а старший — певец и украинский профессор-музыковед, очаровала Таня не одного только нашего скромника и своей даровитостью и всем обаянием юного прекрасного существа.

Сознавая свою неспособность к сближению с особами женского пола путем общераспространенных банальных приемов, Митя начал придумывать разные предлоги для более частых встреч с Таней и не нашел ничего лучшего, как начать с ней занятия по ботанике. Он имел у себя все пособия для этого и приборы, а большой интерес Тани и любовь к природе, при занятиях в очаровательной местности — все это было залогом успеха.

Занятия были начаты и происходили по намеченному плану, деревенской скуки как не бывало, но самая цель, поставленная Митей — сближение с Таней, установление сколько-нибудь более интимных отношений, никак не достигалась, поскольку он по своей натуре никак не мог отрешиться от серьезного делового тона, не мог заставить себя перешагнуть какой-то психологический барьер, преодолеть который было необходимо для достижения заветной Митиной мечты.

Таня сидела у его рабочего стола, и они смотрели в микроскоп. Митя знакомил ее с анатомией растений. Он стоял рядом, и оба поочередно заглядывали в окуляр. Ее золотистые локоны то и дело касались его щеки, из-под выреза белой кофточки показывалась при движении часть

ее ничем более не стесненной нежной груди, рука ее двигалась на винте микроскопа в полной соблазна близости от его лица, но он не осмеливался припасть губами к этой руке. Они были одни, горячее послеполуденное солнце заливало всю комнату, и золото ее волос сливалось с его лучами.

Но он серьезно, как при занятиях в университете, давал пояснения. Душа его изнемогала в сознании своей нерешительности, тело его томилось горячим желанием поцеловать эту прекрасную, бесконечно милую ему руку, но недобрая сила удерживала его, как не отпускала эта сила его, еще отрока, когда он так и не осмелился поцеловать свою кузину, наедине с нею под большим розовым платком, играя в фанты.

Начинался уже июль. Таня с Митей провели чудесный день среди аромата трав цветущего луга, широко раскинувшегося по отлогим склонам большого оврага, с ручьем, затерявшимся в зелени осоки. Ниже ручей расширился, и была там купальня немудрая, из двух досок всего, одна над водою, другая в глубине воды, чистой, пахучей, кувшинками украшенной. Митя нагрузился травами для гербария, и они направлялись домой.

Проходя вдоль большой левады, обсаженной высокими деревьями, они остановились под сенью развесистой ракиты. Таня пожелала оправить прическу. Волнистые золотые локоны рассыпались по ее плечам, и она уронила зонтик.

Митя поднял эту незначительную, но такую милую ему вещь, милую тем, что рука Тани прикасалась к ней. И он не выдержал... Он припал к ручке зонтика горячими губами.

— Зачем вы делаете это? — спросила Таня тихонько. — Вы меня любите?.. Скажите — любите?..

И Митя осмелился. — Да, я люблю вас! — воскликнул он вне себя от восторга: — люблю с самого первого дня... Я ваш навсегда!..

И они обнялись впервые. Юные, неискушенные.

И благословен был этот, второй в жизни Мити, но уже Танин зонтик.

Но прошло лишь немного таких счастливых, блаженных дней.

Началась Первая мировая война. На другой уже день прощалась навсегда Таня с Митей, уезжая с родителями в далекий Воронеж.

И, только лет десять спустя, дошла стороною весть до Мити, уже семейного, что Таня все еще его любит и осталась незамужней.

A. ROSSEELS PRINTING C°
70, rue du Canal — Louvain
☎ (016) 219.62 — Belgium
